

[Polaris]

Георгий Бруц
(Sagittarius)



АДАМОВ МОСТ

Русский оккультный роман

Том IV

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXXXI



Salamandra P.V.V.

**ГЕОРГИЙ БРИЦ
(SAGITTARIUS)**

АДАМОВ МОСТ

Роман

Русский оккультный роман
Том IV

Salamandra P.V.V.

Бриц Г. Г. (Sagittarius)

Адамов мост: Роман (Русский оккультный роман, т. IV). Подг. текста и комм. А. Шермана. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 98 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXXXI).

«Адамов мост» – роман о жизни и странных приключениях группы петербургских оккультистов, среди которых угадываются многие известные эзотерики Серебряного века. Революционная смута, любовные увлечения и небывалые опыты по «экстериоризации» астрального тела приводят героев к мистическому паломничеству на Восток. Роман Г. Брица впервые вышел в свет в 1920-х годах и с тех пор не переиздавался.

© А. Sherman, комментарии, 2016

© Salamandra P.V.V., подг. текста, оформление, 2016

ГЕОРГІЙ БРИЦЪ
(SAGITTARIUS)

Адамовъ Мостъ

Р О М А Н Ъ

Складъ изданія : М. ДИДКОВСКІЙ, Рига, Ткацкая 9

АДАМОВ МОСТ

Страницы древней, очень древней книги предо мною; я шевелю, перелистываю их вполне благоговейно; но великая печаль закрадывается, заползает в мою душу и поселяется там — образы прошлого, картины настоящего и неясные контуры будущего выступают в столь сумрачных очертаниях.

О, этот сумрак над нашей зеленеющей планетой! Как редки минуты полного его рассеяния, как быстролетны периоды сравнительной чистоты земных горизонтов.

О, этот сумрак! Виновник великих, горестных недоразумений, длинной цепи неудач, жестоких противоречий.

Довольно, довольно!.. Свети нам, солнце, изливай радость жизни, дари сбывающимися мечтами, о пламенеющий диск!

.

Улыбка саркастическая, улыбка едкого сомнения дрожит и задерживается на кончике моего пера; я медленно и очень внимательно стряхиваю ее.

Часть первая

I

ЗВЕЗДА НА ВОСТОКЕ

В Тенишевском училище, на Моховой, происходило собрание организации, носившей заманчивое название «Орден Звезды на Востоке». На висевшей у подъезда афише стояла довольно известная фамилия устроительницы собрания, а вход оказался свободным для всех желающих.

— Саянов, ты понимаешь толк в этого рода вещах, не зайти ли от нечего делать? — произнес один из двоих мужчин, рассматривавших афишу.

— Зайдем, пожалуй, — ответил названный Саяновым, среднего роста блондин с голубыми, несколько насмешливо глядевшими глазами.

— Зайдем, — продолжал он, — хотя бы для сравнения; не так давно, в цирке, другая женщина, тоже, как нарочно, с двойной и настоящей русской фамилией, угостила нас ультра-патриотическим концертом; посмотрим, как будешь реагировать ты на выступление сегодняшней дамы. Помнишь, как тогда: «Но серба взять мы не позволим, а от России руки прочь!» Здесь будут песни из другой оперы.

Разговаривавшие вошли.

Громадная аудитория не была полной, но ее нельзя было назвать и пустой. Явно, подавляюще преобладала молодежь — юноши и девушки, украшенные в большинстве бантиками голубого цвета и эмблематическими значками.

На эстраде подвизались пожилая дама, старик, одетый как-то несуразно и еще двое-трое лиц. Программа состояла из музыкальных номеров, пересыпанных обращениями к собравшимся.

— «Верю, что вскоре появишься на земле, о великий Учитель мира, и хочу уже теперь жить так, чтобы в день Твоего пришествия быть достойным узнать Тебя» —

— упала, среди других, фраза с эстрады; за ней последовали еще, также носившие характер исповедания какого-то символа веры.

— «Не премину начинать и заканчивать каждый день свой просьбой благословить все, что буду пытаться делать для Тебя и во имя Твое». —

— «За свой особенный долг почитаю распознавание величия и преклонение пред таковым, в ком бы оно не проявлялось; равно буду стремиться к сотрудничеству с теми людьми, духовное превосходство которых смогу постичь». —

— Что, Митя, не хватит ли с нас? — обратился старший к своему юному спутнику, выказывавшему явные признаки не терпения.

— Пойдем, Саянов, пойдем, мне здесь не по себе.

Не дожидаясь перерыва, приятели вышли из зала, провожаемые легким шиканьем.

— В чем тут суть, Саянов? Я не понимаю как следует, но чувствую, что не дело здесь делается.

— Значит, тебе, Митя, больше пришелся по душе — не знаю, двадцать который — концерт Горленко-Долинской, с его императорами и королями, национальными гимнами и всяческими демонстрациями национальных и союзнических чувств?

— Бесспорно. Там хотя и грубо, но все ясно и целесообразно. Есть враги и есть союзники, есть война и надо довести ее до победного конца.

— А здесь, Митя, хотя и не без тонкостей, с большой порцией тумана, но тоже не бесцельно.

— Так объясни же, что все это означает?

— Изволь, я тебе растолкую. Прежде всего, прикинь ты вот что: много ли есть среди вас, студентов, тебе подобных — с войной до победного конца, с верой, царем и отечеством? Немного ведь, горсть; но и этой горсти не должно быть.

Не горячись, не горячись, — остановил своего спутника Саянов, — выслушай до конца; не должно быть, между прочим и с точки зрения тех, для которых «Satyât Nâsti Paro Dharmah» — вот как это звучит, а переводится — «Нет религии, кроме правды». Взвесь, милый друг, всю значительность этой сентенции и тогда ты, может быть, обратишься к сравнительному изучению религий в поисках указанной «правды», может быть, найдешь себя «у ног учителя», возвещаемого вот и этой, приобретенной нами только что брошюрой; в тебе наступит перелом, одна из твоих опорных консервативных точек перестанет быть таковой и ты потеряешь себя как типичного представителя своей породы.

Саянов передохнул, поглядел на внимательно слушавшего Митю и продолжал:

— Но можно верить по-своему и быть веротерпимым, но можно жить и без самодержца и культивировать национальное без шовинизма; все можно и двуликий Янус не напрасно был выдуман, милый друг! Вернемся, однако, к ордену. Он ветвь теософического общества, одно из средств пропаганды, рассчитанное, главным образом, на молодежь; это сравнительно новинка — орден учрежден в Бенаресе 11 января 1911 года. В выступлениях ордена переливается и поблескивает только мистическое, но если хорошенько распеленать, тогда: примите, о слушатели, всего одно положение, что еще одна, несколько звезд могут зажечься на Востоке, кроме звезды Христовой. Кроме звезды Христовой! И большая брешь в большой стене станет еще больше. Вот тебе, Митя, одно из возможных истолкований; а сверх того следует помнить, что по установившемуся ныне в Российской Империи распорядку все заняты увлекательной игрой в идейность самоновейшего изготовления; широкоструйная российская интеллигенция поспешает к дальнейшим расслоениям — малый штрих к большой картине! А время, не правда ли, выбрано самое подходящее?! Просвещается и народ; я уже слышал прелестную песенку: —

Шумит, свистит паровик,
Залилася птичка;

Мой миленок большевик,
А я меньшевичка...

— Перестань, Саянов; ты сейчас — не преувеличиваю — точно новую страницу вписал в меня, коснулся несомненно важного и тут же, по своей привычке, пошел чертить неведь что.

— Не грубить, молодой человек; кто вы такой, что позволяете себе подобное? Ты зубр, Митя, и хотя многих вас из интеллигенции и из массы народной уже скосила война, вы все еще водитесь в некотором количестве и это обстоятельство не дает спать разного рода «строителям нового мира», — слышишь, юноша!

Они были уже на Троицкой, где жил Саянов.

— Ну, до свиданья, Митя; ты теперь к Соне, а мне предстоит заседание. Завтра же, согласно уговору, сбор у меня в шесть часов; проводим тебя честь честью во Владимирскую фабрику доблестных прапоров.

II

ПРОВОДЫ

Саянов числился холостяком, но вел вполне семейную жизнь. Обосновавшись в свое время в Петербурге, он нанял две просторных и отлично меблированных комнаты на Троицкой из разряда *piéd à terre*, при коих, как известно, полагались обычно и «все удобства»; к числу таковых оказалась принадлежащей очень изящная, вполне интеллигентная, во многих отношениях привлекательная хозяйка квартиры. Они так подошли друг к другу, что после года совместной жизни, представляли собой образец хорошо слаженной супружеской пары. Фривольное начало их отношений превратилось в настоящую взаимную привязанность.

Наталия Андреевна оказалась неразведенной женой только что бросившего ее мужа — прокутившегося кавалериста; в дополнение к этому Саянов провозгласил существование какого-то родства между ним и Наталией Андреевной и в результате небольшой кружок лиц, близких Саянову, признал, что все в порядке.

— Ната, — счел однажды необходимым поставить вопрос Саянов, — если порядок не дается, а беспорядок нежелателен, как быть тогда?

— Установить упорядоченный беспорядок, Володя, — смеясь, ответила молодая женщина.

Так исчерпали они эту тему.

Саянов пробивал себе дорогу в жизни самостоятельно. Не чувствуя ни к чему особого призвания, он избрал наиболее легкий, по его мнению, путь — поступил в ближайший ветеринарный институт и, ровно в положенных четырех годах, окончил курс такового. Приобретя звание магистра, перебрасываясь умело с места на место, он, наконец, сравнительно хорошо устроился в родном Петербурге в качестве ветеринара военного ведомства, а его материальное благополучие укрепилось дополнительно благодаря полученному наследству.

Зоркий наблюдатель жизни, очень практичный, Саянов с удивлением открыл в себе непреодолимую склонность к умозрению; открыл и пошел по этому, ставшему любимым, пути; его интересовали проблемы наиболее общие, основные вопросы бытия и он специализировался на великих философских системах Востока.

Саянов охотно водился с молодежью, но сближался с людьми только такого же, как он, порядка и был очень тщателен в своем выборе; поэтому нельзя было ожидать, чтобы собрание, назначенное в его квартире, было многолюдным.

Первым появился старейший по возрасту член этого оригинального, подобранного Саяновым, кружка; то был Петр Эрстович Блаватский, иначе «дядя Петя». Блаватский, да еще Петр, он, однако, ничего не имел общего с оставившей по себе громкое имя Еленой Петровной Блаватской. «Дядя Петя», в противовес упомянутой однофамилице, был образцом скромной сдержанности; его, казалось, всецело поглощали коллекционерство и заботы о всем известной, но мало кому показываемой Вере — сироте-племяннице, тоже Блаватской.

Блаватский занимал некогда видный пост, но уже давно оставил службу, реализовал свое очень значительное состояние и, можно сказать, замкнулся в обширной квартире на Большой Зелениной улице; занимая целый этаж, платя не стесняясь, он смог превратить ее как бы в некий музей с весьма разнообразным и отчасти странным содержимым.

— Ну, что, Владимир Игнатьевич, еще не собрались твои Полетаевы? — так шутливо называл Блаватский юных друзей Саянова.

— Сейчас будут, сейчас будут, Петр Эрстович.

Действительно, через несколько минут пришли Митя и его невеста Соня — прехорошенькая курсистка с массой каштановых волос и чудными карими глазами, глубокими, манящими и очень правдивыми.

— А, вот и виновник торжества! — оживленно воскликнул Саянов. — С превосходнейшим экземпляром женской породы под мышкой; здравствуйте, мои друзья.

Раздался еще звонок и ознаменовал собою прибытие гостя неожиданного. Это был отставной артиллерийский генерал, по фамилии Нелиус. Поводом его непредвиденного появления послужило следующее обстоятельство: он должен был срочно, этой же ночью, уехать из Петербурга, а перед тем ему совершенно необходимо было повидаться с Блаватским; проследив, где находился последний, он решился побеспокоить своим посещением Саянова. Так явствовало из изысканно вежливых извинений генерала.

Нелиус и Блаватский сейчас же повели тихую, но очень оживленную беседу, а в это время общество пополнилось еще.

Вошла Мила Рокотова, родственница Наталии Андреевны, представлявшая в кружке Саянова крайнюю левую; ее главным занятием в последнее время была пропаганда среди рабочих.

Завидя Нелиуса, Рокотова казалась крайне удивленной; не без некоторого волнения и очень почтительно поздоровалась она с ним.

— А, старая знакомая, вот чудесно, что довелось опять встретиться, — чуть покровительственно, но вполне любезно обратился к Рокотовой генерал, обменялся с ней несколькими словами, а затем, еще раз извинившись перед хозяевами, простился и вышел.

В скором времени прибыл последний из ожидаемых гостей — молодой Джозеф Кребтри. Он стал своим человеком у Саянова через «дядю Петю», с которым его связывали совершенно особые отношения.

Блаватскому, непрерывно пополнявшему свои разнообразные коллекции, приходилось обращаться к разным лицам и изыскивать разные пути. Он не преминул использовать в этом смысле и некоторых своих знакомых из среды постоянной английской колонии в Петербурге.

То был мир крупных коммерсантов, в большинстве экспортеров леса и хлеба, имевших свои конторы преимущественно на Васильевском Острове; некоторые из них были в полном смысле слова богачами-негоциантами, обладавшими обширнейшими, истинно английскими коммерчес-

кими связями. Понятно, какие своеобразные выгоды проистекали из сего для Блаватского.

Между прочим, он обладал прекрасной коллекцией разновидностей корунда, но кое-чего не хватало еще в этом собрании благородных кристаллов.

Блаватский, хотя и очень состоятельный, но расчетливый, мудро решил приналечь на своих английских друзей и в этом случае.

Рубины дешевы и наилучше представлены в Бирме, а сапфиры на Цейлоне. Вот и пошел шевелить англичан Блаватский: достаньте, мол, мне кто белый сапфир, а кто опаловый, обладающий астеризмом и тому подобное, но все подлинное и по сходной цене.

Почтенные мистеры Вардеробы, Стевени и Фишвики не реагировали, однако, как следует; но зато у мистера Блессига, в его конторе, в качестве практиканта, находился молодой Кребтри, который охотно взялся и, через посредство своих заморских родственников, исполнил в точности поручения Блаватского.

Последний, желая особо подчеркнуть свою благодарность, пригласил обязательного юношу к себе, показал все свои этнографические, минералогические, ботанические и иные сокровища; констатировал у молодого англичанина неподдельный интерес к таковым, очень обрадовался этому и, расчувствовавшись, познакомил Кребтри с Верой. Спокойный и трезвый юноша вообще очень по душе пришелся Блаватскому.

Кребтри принадлежал к состоятельной английской семье, в деньгах не нуждался и, по заведенному обычаю, не только ничего не получал от своего коммерческого патрона, но еще платил за право практики в конторе Блессига некоторую сумму; словом, никак нельзя было нанять его для занятий английским языком с Верой, что вдруг вошло в план действий Блаватского. Однако, последний нашел выход и Кребтри, совершенно неожиданно для себя, стал давать уроки Вере.

В противоположность многим из его предков, бывших одними из первых поселенцев нынешних Соединенных Шта-

тов и направлявшихся туда впоследствии, Кребтри теготел не к Западу, а к Востоку; он, уготовляемый своими родителями в торговцы русским хлебом, с увлечением занимался восточной лингвистикой и уже, что большая редкость, хорошо разбирался, между прочим, в языке «пали», на котором записаны многие древнейшие буддийские тексты, а также, частью, сингалезские хроники. К тому, что имел в своем распоряжении в этом смысле Кребтри, что периодически получал от своей, жившей в Коломбо, тетки, известной поборницы буддизма и деятельной коллекционерки памятников сингалезской старины, — ко всему этому материал, которым располагал Блаватский, был значительным дополнением.

Вывод ясен: Кребтри был соблазнен, Вера получила прекрасного преподавателя английской речи, а вся троица очень сблизилась.

Как только удалился Нелиус, исполненная любопытства Мила Рокотова сейчас же атаковала Блаватского.

— Так вы, дядя Петя, знакомы с генералом; вот не ожидала.

— Знаком, Милочка, и поработали вместе немало, но только я уже успокоился, а он не унимается и все подталкивает корабли к намеченным гаваням. Да, мы с Георгием Оттоновичем очень старинные знакомые.

Блаватский задумчиво посмотрел на девушку.

— Я еще усилю ваше удивление, мое дитя, сказав, что Людмила Рокотова имеет свой номер среди F. F. R. C. R.

Этого было уже чересчур для экспансивной Милы. Она вскочила с места, села опять и в изумлении уставилась на Блаватского — один из духовных вождей ее недавнего прошлого, доселе неизвестный, был перед нею! Это прошлое успело деформироваться, но уважение к нему осталось.

Блаватский, с несколько усталым любопытством, наблюдал за своей собеседницей, затем он, быстро ориентирующийся человек, внутренне одобрил только что созревший план использования Рокотовой.

— В очень скором времени, Мила, я с Верой двинусь из Петербурга; в этом городе, в этом Петрограде, называют

более серьезные вещи, чем происшедшие до сих пор; как раз о такого рода возможностях любезно информировал меня сегодня Георгий Оттонович. Я староват для участия в чрезвычайных представлениях, затем... однако, поводы в сторону; я, собственно, вынужден просить вас об одном одолжении. Уезжая, не хотелось бы бросить на произвол судьбы квартиру; конечно, я порассую в разные подходящие места многое, но останется достаточно; так вот, очень прошу вас переселиться в этот, имеющий быть несколько опустошенным, рай старика Блаватского, володеть и править им с помощью известной вам Катерины вплоть до возвращения хозяев. Я оставлю достаточную сумму на расходы — примерно года на два, этого должно хватить.

Рокотова сейчас же согласилась:

— Я не могу отказать вам, Петр Эрастович; когда я должна переехать?

Ей, почти бездомной, очень нуждавшейся, предложение Блаватского вполне подходило; кроме того, она только что приобрела особые основания желать быть ему полезной.

— Спасибо, мой дружок; ну, а перебраться вы можете в любое время; свой же отъезд я намечаю недели через две.

— Петр Эрастович, а куда, если могу спросить, вы уезжаете?

— В Стокгольм, — последовал короткий ответ.

Они продолжали беседу — Блаватский вяло, а Рокотова с большим оживлением, но она уже ни разу не назвала Блаватского «дядей Петей».

Наталия Андреевна и Саянов хлопотали около приготовления ужина, а расположившиеся на широкой тахте Соня и Митя старались расшевелить Кребтри, церемонно и прямо сидевшего на низеньком пуфе.

— Мистер Кребтри, как вам известно, я поступаю завтра в военное училище; не намереваетесь ли и вы предпринять нечто подобное, на страх врагам Великобритании и союзных с нею держав; ведь ваши хлебные операции уже давно, должно быть, завяли?

— Я в скором времени отправляюсь в Англию, чтобы, после необходимой подготовки, войти в состав армии, — сухо и весь подобравшись, ответил Кребтри на неловкий вопрос Мити.

Общество, собравшееся у Саянова, несмотря на разницу в летах и на многое другое, представляло собой довольно тесный кружок и непринужденность царила во все время скромного, но умело составленного ужина, а так как это был ужин прощальный, то Саянов блеснул подлинной редкостью — бутылкой «Cognac Mousseux» 1811 года.

— Мои друзья, эта бутылка наполнена более ста лет тому назад, за это ручается верный человек, monsieur Issartel, имя которого известно многим знатокам вин. Более ста лет! Тогда, как и теперь, мир людей был вовлечен в великую борьбу, тогда произошли великие потрясения; пожелаем же себе ныне скорого и радостного конца переживаемых тягот, а нашему общему другу, Мите, сверх того достойного и счастливого участия в рядах подвизающихся на поле брани, если это выпадет ему на долю.

Все чокнулись с Митей, а он поспешил заявить, что и мистер Кребтри находится в сходном с ним положении. Последовали сердечные пожелания и в сторону последнего.

Саянов задумался и, обращаясь к Наталии Андреевне, заметил:

— Нас будет все меньше и меньше, Ната; снимается мистер Кребтри, за ним последует Митя, Соня уже в общине и укатит тоже.

— Присоедините и меня с Верой, Владимир Игнатьевич, мы вскоре уезжаем, — заявил Блаватский.

— Что такое?! — удивленно воскликнул Саянов, — разве дела так плохи, разве корабль уже тонет...

Саянов осекся.

— Пощадили, Владимир Игнатьевич, не дотянули до сравнения с бегущими крысами; оно было бы не по заслугам — корабль не тонет, но пустился в опасное плавание и балласт в виде старика Блаватского и полуребенка-девушки ему не нужен.

— Когда же, куда и на как долго, Петр Эрстович? — посыпались вопросы.

— Одно могу сказать, что скоро и в Стокгольм; определить дальнейшее я не решаюсь.

В Стокгольм! Тяжелым и значительным эхом прозвучало это заявление, но лишь двое из присутствовавших, Саянов и Рокотова, могли оценить по достоинству решение, принятое Блаватским.

— Значит, так, — сумрачно уронил Саянов, — только мы с тобой, Ната, будем здесь щупать пульс жизни, ну, а Мила позаботится обдавать нас жаром своих пораженческих идей и уж не заиграет ли она, с ей подобными, первую скрипку в разноголосом концерте российском?

— Восстанет новый мир на развалинах старого! — поспешила задорно продекламировать Рокотова.

Уже хорошо знакомая фраза прозвучала и осталась без ответа.

— Да, — поднял тему Блаватский, — война всегда рождает либо откат, либо продвижение вперед, в обоих случаях за счет существующего порядка; у нас головная колонна народа, интеллигенция, готова отвернуться от прошлого, но относительно того, каким должно быть будущее, в ней существует слишком много мнений — верный признак, что не она окажется хозяином положения.

— По-вашему, Петр Эрстович, не миновать больших сотрясений; что ж, я уже слыхивал подобные пророчества. Так не лучше ли сделать все возможное, чтобы удержаться, по крайней мере, на спасительной срединной линии, ведь подсчет...

— Подсчет, — прервал Саянова Блаватский, — подсчет... все дело в подсчете. О, если бы человечество умело подсчитывать этого рода вещи! Лицо земли было бы иным! Но это уменье люди лишь начинают постигать и потому мы разномыслим, и потому нам суждено быть участниками периодических катастроф, по этой же причине от социологии за версту несет пеленками.

Внимательно прислушивавшийся к одному из тех споров-разговоров, которыми полно было тогдашнее время, Креб-

три, обычно молчаливый, почувствовал вдруг желание высказаться. Краска легкого смущения обозначилась на его лице, но он быстро справился с собой.

— Я хочу смотреть на дело значительно проще: сейчас у вас в России и у нас в Англии одна забота: надо защитить себя от врагов, сначала защитить; всяким теориям, всяким экспериментам социального свойства может быть уделено место лишь потом.

Приунывшие было Соня и Митя, почувствовавшие, что ставилось под знак вопроса самое важное для них, то, что они чистосердечно сочли за единственно необходимое, ожились, найдя единомышленника в Кребтри и горячо пожимали ему руки.

— Здоровая мысль, мистер Кребтри, и вы представитель ныне здоровой нации, но кто болен, тот болеет, — медленно протянул Блаватский.

Все приумолкли, а Рокотова погрузилась в глубокую задумчивость.

Было уже довольно поздно и Блаватский, поглядев на часы, как бы подал сигнал к разъезду.

Начали собираться, но никто не торопился. В воздухе повисла дымка печали, как результат разговоров, как следствие уже зарождавшегося сознания о наступающем закате многого из того, что было мило и привычно, а будущее представлялось столь тревожным.

Дальние Блаватский и Кребтри вышли первыми и уехали на извозчике; по пути они уговорились о совместном путешествии до Стокгольма.

Рокотова осталась ночевать, а Митя провожал Соню до ее квартиры, на близлежащую Пушкинскую улицу.

— Соня, ведь мы иначе не можем и ну их в болото со всей философией?!

— Не можем, Митя.

Так было резюмировано отношение ко всем сомнениям, а на ступенях подъезда неожиданно и своевольно вспорхнул поцелуй; в этот поздний час не видно было прохожих, швейцар долго копался, не давал света и не отворял дверей, а потому они крепче прильнули друг к другу, в их пов-

торенных поцелуях вспыхнул и разлился сладким трепетом в крови огонь и они совсем не стеснялись стоявшего в своем крошечном садике Пушкина в старомодном сюртуке и без шляпы. Поэт — покровитель юности — вспоминал в это время одно из своих анакреонтических стихотворений и сурово взглянул на дежурного дворника, показавшегося из-за угла Лиговского переулка.

III

МИМО

В недрах белой расы дозрело событие, чреватое последствиями. Взорвался тщательно охраняемый исполинский бак, не в меру полный. Витиевато изукрашенный чеканными, веками продуманными, звучными надписями, гордыми эмблемами, он в архивной книге земли отмечен был, однако, кратко и вразумительно: «потаенное Зло цивилизованных народов».

Этот бак взорвался, Зло разгулялось и стало стихийным, возникли действующие вулканы Зла; среди них занял свое особенное место, выделился двуглавым кратером — российский.

Те, первые, погасли, а он все еще действовал — враг Милосердия, союзник Жестокости. Было время, его хотели умиловить, трусливо и не без подхалимства называя «великим и бескровным». Но большой тугодум, пес, бульдог «Ами», стоя однажды, для безопасности, на куче весенней грязи на углу Невского и наблюдая, что там происходит, взвесив еще некоторые обстоятельства, не сохранил уже никаких иллюзий и, сделав неудачную попытку поджать обрубок своего хвоста, уныло побрел домой и больше не интересовался Невским.

Сумрак сгустился над частью планеты и в воцарившейся полутьме гибли правые и виноватые.

«Дымись, гора! Устрашай коснеющих на тучных пастбищах и упрямых, посылающих свои взоры в прошлое, но не мешай нашей стройке, ведь мы должны оправдать свои ожидания; наше время пришло, для нас цветы и тук земли!» — восклицали одни.

«Проклятие тебе, разрушитель! Горе нам, не уберегшим, растратившим и не собравшим!» — восклицали другие.

В большом доме состоялись перемены: была переставлена мебель, часть жильцов выселена, другая уничтожена, а оставшиеся разместились по комнатам в ином, чем преж-

де, порядке и установили иные между собой отношения. Это дало им повод возвестить, что великое событие совершилось, событие, которое «потрясло мир»!

Кто они, славословящие свои деяния? — Люди на приущей им ступени развития и как будто забывающие, что путь человечества долг, что ему не видно конца.

Далеки, как и прежде, границы страны, населенной людьми, вкушающими безмятежное и мирное житие, страны, свободной от всего, что составляет печаль человечества, а кровью и железом еще нигде и никогда не было засажено человеческое счастье.

Должен ли я еще взять меру и весы? Нет ; мимо, мимо.

О, прошлое, ты свершилось! Над тобой надгробная плита; бесполезно писать на ней перечень заслуг и порицаний.

Я не должен. Сегодня неуклонно переходит во вчера, а день завтрашний постоянно нас настигает; уделим же ему особое внимание — над ним тяготеет и наша власть!

Далекий-далекий, то замирающий, то более явственный перезвон колоколов всего минувшего, порою гармоничный, порою напоминающий о извечных диссонансах, мерно звучит нотами среднего регистра, а внимательное ухо улавливает в нем ритмическую мелодию колыбельной человеческого рода: «Все это было и все это будет; бремя, несомое человечеством, не умалится до урочного часа; Круг Жизни, Мировая Мельница вращается неустанно; плевелы человечества и плевелы от создаваемого человечеством найдут свой печальный удел, те плевелы, что отпадают направо и те, что отлетают налево; благороден, благороден труд сеющих чистую пшеницу»...

Временами прерывается монотонность этой песни, мелодия звучит торжественным приветом, слышны встречные фанфары. Это отзвуки появления на стезе человечества одиноких величавых фигур; воспоминание о них неисповедимо драгоценно, наследие полно живительной силы — здесь наша бодрость.

Нет, нет мы свободны! Перед нами стелется, лишенный всяких застав, горный путь, на верстовых столбах которого видны утешительные надписи.

Вот над поверхностью океана блеснуло что-то серебристое; это спинки небольших, но летающих рыб; в родной стихии много хищников, посягающих на свободное плавание, на самую жизнь этих существ, а потому... взмах упругих плавников и над водной ширью уже замелькали серебристые тела!..

Гордо прозвучала шумная фраза, а ведь живем мы в мареммах повседневности, и кратковременны поднятия над ними и, сильные словом, гораздо реже выказываем мощь в деяниях наших и многим из нас заботы о хлебе насущном заслоняют собой остальное.

Что делать, как быть? — Понять, оценить достойно Христово: «Воздай кесарю кесарево, а Богу божье».

Но что есть «кесарево» и кто есть «кесарь»? — Заботы жизни нашей.

IV

ВЕЛЕНИЕМ СУДЬБЫ

Митю подхватила волна и на ее хребте он достиг первой из двух вместительных могил российских прапорщиков, той, где их складывало столкновение поддавшихся безумию народов.

След Сони затерялся.

Ярый пособник человеческой склоки, дитя кромешной грязи, ей сопутствующей — тиф задел мимоходом Наталию Андреевну и упрятал под землю к великому горю Саянова. Прирожденная общительность последнего стала исчезать и вскоре он сам исчез с петербургского горизонта, передав, по примеру Блаватского, надзор за своей квартирой Миле Рокотовой, справлявшей уже немалые дела во все более торжествующем лагере красных.

Занятая Саяновым позиция стороннего наблюдателя событий, оправдываемая отчасти его мировоззрением, становилась, однако, слишком тягостной; вовлечение всех и каждого в орбиту одного из направлений нарастало ежедневно и «кто не с нами, тот против нас» заявляло о себе неуклонно. Смерть Наталии Андреевны упрощала многое и Саянов сделал свой выбор.

Несмотря на свои связи, Рокотова имела затруднения с обширной и богатой квартирой Блаватского. Она перевезла оттуда на Троицкую все что было возможно, прихватила с собой сбившуюся с толку Катерину — давнишнюю слугу Блаватских — и окончательно утвердилась в квартире Саянова.

Тем временем одиннадцать комнат на Большой Зелениной, составлявших некогда «музей Блаватского», а теперь лишь до некоторой степени наполненных разрозненной мебелью и остатками прежней экзотической обстановки, превратились в место постоянных сборищ революционной толпы. Иногда в части комнат поселялся какой-нибудь из виднейших вожаков, но долго не выдерживал беспрерыв-

ного гама и сперттого, прокуренного, проникавшего сквозь двери и двойные портьеры воздуха.

Там же, в бывшей квартире Блаватского, произошла сцена, стоившая жизни одному из близких друзей последнего.

По странному в его положении капризу, Нелиус, видный, но закулисный вдохновитель совершавшегося, медлил расстаться с своей генеральской одеждой; человек, наносивший удары по императорскому режиму, предпочитал, хотя и частично, donaшивать эмблематический убор последнего.

Зайдя на квартиру Блаватского, чтобы переговорить с нужными ему людьми, Нелиус в одной из передних комнат заметил матроса, ковырявшего ножом ствол латании, одной из лучших, какие вообще бывали в Петербурге. Возмущенный, он не удержался от резкого замечания. Матрос быстро повернулся, окинул взором незнакомого генерала, угрожающе двинулся к Нелиусу и прежде, чем последний, почуяв опасность, успел сунуть руку в карман за револьвером, он был свален с ног могучим ударом кулака по скуле, а затем его стали избивать беспощадно; его бы здесь и прикончили, если бы не подоспела помощь в лице нескольких главарей, знавших Нелиуса.

Побои оказались смертельными и спустя несколько дней Нелиус скончался. Идейный мастер революции попал под ее колесо.

Случай с Нелиусом и его смерть сильно понизили радужное настроение Рокотовой, а в остальном все это прошло вполне незаметно в те дни, когда, в те дни...

V

ВЕСЕННЕЕ

Блаватский, Вера и Кребтри прибыли в Стокгольм вместе, как то было условлено.

Кребтри, в сущности, должен был поспешить дальше — в Англию, но медлил. Предлогом задержки явилось легкое недомогание Петра Эрастовича, вызванное, по его объяснениям, более дальним и хлопотливым переездом; в действительности же Блаватский не без труда переваривал свое бегство из Петербурга.

Заботливый Кребтри принял деятельное участие в устройстве на новом месте, но особых усилий не требовалось, так как приезд Блаватских ожидался и они нашли готовое, вполне удобное помещение в семье доктора Съёберга. Между Блаватским и доктором существовала какая-то связь и последний выказал большую предупредительность.

Да, Джозеф Кребтри, юноша твердых правил, торопился одной стороной своего существа на родину, а другой малодушно оттягивал отъезд.

В занятия английским языком на дому, в уютной и обособленной обстановке, когда ученица достигает семнадцатого года своей жизни, а учителю чуть-чуть побольше, когда оба симпатизируют друг другу, — в занятия эти должен был закрасться элемент нежной дружбы, по меньшей мере.

Так оно и случилось. Ученица еще не совсем разбиралась, в чем тут дело, зато педагог успел подвинуться далеко и уже сознательно шагал по привлекательнейшей из дорог юности.

Ах, как трудно было теперь Джозефу Кребтри оторваться от своей молоденькой очаровательницы, тем более, что он не знал еще ничего определенного, не смел коснуться вопроса о взаимности; о, он многого не знал об этой чернокудрой, хрупкой, такой изящной женской статуетке.

Юноша, идеалистически настроенный, не задетый уже намечавшимся в его поколении уклоном в сторону преи-

мужественно физиологического восприятия женского обаяния, нашел в себе достаточно красок со старомодной палитры и наделил образ своей возлюбленной многим чудесным. Но ему посчастливилось — портрет, насколько это возможно в подобных обстоятельствах, был близок к оригиналу.

Старик Блаватский, бездетный вдовец, чрезвычайно привязался к Вере, которая, начиная с семилетнего возраста, была исключительно на его попечении. Он вложил в ее воспитание весь свой опыт умудренного жизнью и много размышлявшего человека; очень свободомыслящий, он именно поэтому ничего не навязывал ребенку, давал ему развиваться по линии прирожденных склонностей, а наблюдения показали, что таковые были из числа вполне положительных.

С другой стороны, сам жуя, на протяжении долгих лет, сухую корку умозрения, Блаватский решил не мешать Катерине, старухе строго набожной и очень доброй, второму важному в жизни Веры лицу, влиять по-своему на ребенка.

Не предрешая вопроса о высшем образовании, Блаватский повел дело обучения своей питомицы самолично; здесь не было перегрузки плановыми уроками, но все их, Блаватского и Веры, десятилетнее уже общение было непрерывающимся применением определенного метода передачи знаний и наведения на путь самостоятельных суждений и любознательности.

Своеобразная, но основанная на подлинно культурных потребностях обстановка дома Блаватского, его коллекции, его собственные занятия, немногочисленный, но избранный круг его друзей, все это создавало исключительно благоприятную атмосферу для развития девушки.

Конечно, на всем протяжении своего роста этот цветок был несколько тепличен, но, балансируя плюсы и минусы, можно было отдать ему решительное предпочтение перед многими, взращенными в обычных условиях семьи и школы. Так, по крайней мере, без малейших колебаний решил Джозеф Кребтри.

Вернемся же к юному англичанину и к его затруднениям. Вот как раз идут они вместе, Кребтри и Вера, направляясь

в Национальный музей. Кребтри знает, что его отъезд теперь уже неминуемо состоится послезавтра, Кребтри хочет высказать нечто, желает получить некоторые разъяснения, но все это как-то не удастся, пока, наконец, всемогущий и, на этот раз, благодетельный случай не приходит на помощь.

Они заняты рассматриванием собрания египетских древностей, хранящихся в музее; Вера задает своему спутнику ряд вопросов, но объяснения последнего не удовлетворяют спрашивающей.

— Мистер Кребтри, вы сегодня как-то нескладно говорите.

— Я плохой египтолог, Вера (просто по имени — по праву долгого знакомства и преподавательского авторитета), спрашивайте меня лучше о чем-нибудь по моей, известной вам, специальности.

— Ах, не обижайтесь, мистер Кребтри, вы столько интересного сообщили уже мне. Особенно этот недавний рассказ о Сангамитте, дочери индийского царя Асоки Велико-го. Чудесна, чудесна ее история: прибыть, во главе торжественной экспедиции, с отпрыском священного дерева «бо» на неведомый Цейлон, на Ланкадива — так ведь он назывался, — участвовать в посадке побега дерева, под которым получил свое откровение Будда, содействовать своему брату, апостолу Махинде, в распространении возвышенного буддийского учения, стать основательницей монастырей и, наконец, сохранить свое имя для потомства на протяжении более чем двух тысячелетий — это чудесно и величаво! Видите, как хорошо я запомнила. Но вот что, мистер Кребтри, смотрю я на угловатые и безобразные фигуры этого барельефа и думаю, что, наверное, Сангамитта должна была походить на одну из них, — ведь это было так давно, — последовало наивное заключение.

— О, нет, Вера, здесь перед нами образец древнейшего периода египетского искусства, вообще условного, а затем, буддийские книги вспоминают о внешности Сангамитты совсем иначе; она была очень красивой, она была похожей на вас, Вера.

Так сказал Джозеф Кребтри и внезапно умолк, а девушка не без лукавого тщеславия сейчас же реагировала на сказанное :

— Сангамитта, говорите вы, походила на меня и она была очень красива, то есть, по вашему мнению, мистер Кребтри, и я очень красива, — построила первый в своей жизни силлогизм Вера, снабдив его очаровательным сощурением глаз и одной из прелестнейших в мире улыбок.

Но вот она что-то сообразила, спохватилась, румянец залил бледные щеки, а строго моделированное лицо ее стало еще строже.

Однако было уже поздно, ибо Кребтри вспомнил еще раз, что уезжает в Англию, что перед ним война, что можно уехать, не высказав самого важного, и остаться без ободряющей сладкой надежды. И ведь это ему сверкнули из-под бархата ресниц чудесные глаза, а пунцовые губы на бледном обожаемом личике для него сложились в манящую улыбку! Он порывисто схватил руки девушки и, в присутствии какого-то господина в очках, всматривавшегося в гиератическую надпись на одной из гробниц, отчеканил по-английски: «I love you, Vera!»

Господин в очках ехидно улыбнулся, Вера зарделась пуще прежнего и, крепко сжав руки ошеломленного своей смелостью кавалера, энергично потянула его в противоположный конец зала музея. Вся взбудораженная, она не сказала, однако, ни слова и не дала говорить Кребтри, а быстро направилась к выходу.

Она спешила домой искать совета и защиты у своего многоопытного дяди Пети, который всегда и все умел устроить как следует. Кребтри, за неимением лучшего, старался не отставать.

Музей находился поблизости от квартиры Блаватских и Вера минут через десять уже лежала на груди у старика Блаватского и взволнованно рассказывала, какое необычайное горе с ней приключилось. Кребтри ожидал своей участи в соседней комнате.

Блаватский сразу понял, в чем дело и не удивился смеси самоуверенной энергии с полным отсутствием таковой

у его Верочки, — это было по-женски, а затем, элемент детского отношения к жизни еще был силен в его питомце.

Но случай, однако, требовал, чтобы сама нарождавшаяся женщина решила, указала направление, по крайней мере.

— Веруся, а если бы меня не было, как поступила бы ты теперь?

Раздумье девушки, повернутой на привычный уже путь самостоятельности, длилось недолго.

— Я бы сказала, я бы сказала мистеру Кребтри, что таких вещей не говорят в музеях, при посторонних, да еще по-английски, — здесь все понимают....

Блаватский забавно сощурился — это была семейная черта — поцеловал свою, вспыхнувшую до корней волос, племянницу и позвал Кребтри.

— Любезный друг, с переездом нашим в Стокгольм занятия английским языком, как известно, прекращены, но, с разрешения вот этой дамы, формы английского глагола «любить» подлежат исключению. На днях вы уезжаете, но времени хватить для нескольких успешных уроков; дальнейшие же упражнения, по общему соглашению, по общей необходимости, нам придется отложить до лучших времен, до нашей, дай Бог, счастливой встречи в будущем, Джозеф. Поезжайте — вы так поняли свой долг — и ни нам не следует вас задерживать, ни вам задерживаться.

Блаватский соединил руки Веры и Кребтри, перецеловал обоих и ушел в свою спальню переодеваться. Он не придавал происшедшему слишком серьезного значения — оба были так молоды, в особенности Вера, — но, если бы эта помолвка выдержала пробу времени и событий, он бы охотно видел Веру замужем за Кребтри.

А они были очень смущены, охвачены волнами намерений и мыслей и не знали, как проявить свое состояние наружу. Перед ними открылась дверь в сад любви, в сад с нетоптанными еще дорожками, в котором на нежных и чудесных цветах дрожали бриллиантовые капли утренней росы; в чудесный сад, раз в жизни только и все меньше и меньше доступный.

Они не решались войти по своей восхитительной неопытности, а затем, по вечно действующему, увы, закону света и тени, их уже пугал костлявый призрак войны, туманил солнце этого и неведомо скольких будущих дней.

Кребтри запечатлевал в своем сердце черты дорогого лица и молчание было нарушено Верой, проявившей своеобразную практичность женского ума.

— Ничего не поделаешь, но что за несуразное имя — Джозеф! И по-русски то оно всего-навсего Иосиф, а то еще хуже Осип.... Сколько уже я думала над этим.

В глазах Кребтри мелькнуло сначала недоумение, затем задумчивое, чуть-чуть печальное, выражение немой признательности.

Все это было замечено, оценено и тронуло в девушке с места ее накопившуюся нежность. Вера быстро приблизилась к своему нареченному, взяла за руку, подвела к дивану и усадила около себя.

— Мистер Кребтри, я буду звать вас Джойя, Джоинька, — тихо прозвучали воркующие слова милого голоса.

Тогда наступило время мужчине править волшебной колесницей.

Романтический эпизод длился еще день, он был овеян весенним очарованием, а затем надлежало расстаться, быть может, навсегда.

VI

CE QUE DOIT SAVOIR UN MAÎTRE-MAÇON

Годы шли и Блаватский хандрил. Гулкое эхо событий российских воспринималось им довольно пассивно — он ожидал подобного и знал приблизительную цену всему. Затем, ему ли, знатоку психологии масс, самолично прикасавшемуся к некоторым значительным рычагам социального порядка, ему ли приходилось удивляться?

Но планировка событий обнаруживала неожиданные уклоны, но родина звала, но полагавший себя гражданином мира тосковал по воздуху родины. Не помогала удаленность стареющего человека и изменял спасительный, давно усвоенный гедонистический взгляд на жизнь. Закат этой жизни заволокли тучи, а организм неустанно давал перебои, сигнализировал о своей изношенности.

Кроме доктора Съёберга, у Блаватского имелись в Стокгольме еще знакомые; среди них, по давнишней близости и по своему удельному весу, выделялся Абрам Самуилович — он же Адольф Семенович — Марбург, финансист мирового масштаба, весьма, между прочим, интересовавшийся русскими делами и незаметно, но веско влиявший на ход последних. Его-то частенько и проводывал Блаватский.

Старые друзья, во многом единомышленники, люди большого умственного кругозора, они находили, о чем с интересом побеседовать; сверх того, Марбург, как никто, был осведомлен о том, что происходило в России.

Блаватский в последнее время чувствовал себя неважно, а его ровесник Марбург страдал застарелой болезнью горла, и вот в их разговоры то и дело закрадывалось старческое побряхтыванье о бремени лет и о надвигающемся конце жизни.

— Да, Адольф Семенович, — начал однажды Блаватский, — сейчас нас, пожалуй, не удовлетворит экстериоризация, как третий член к бинеру: жизнь — смерть? Не по-

может и вся наша приучающая символика. Не предложите ли вы что-нибудь более ценное, успокоительное и обнадеживающее; ведь, по всей видимости, нам обоим необходимы уже этого рода валериановые капли?

— О, какой неделикатный вопрос, — ответил в тон Блаватскому Марбург.

— Достопочтенный брат, — продолжал он — мы подобрали кое-что из земной мудрости, научились сознательно реализовать земные блага и возможности, но наш синтез земного порядка и абстрактное, вкупе со всем ведомым и неведомым, мы заключили уже давно в тернере: архетип — человек — природа. Это наше, а больше... откуда же?

— Адольф Семенович, это неудовлетворительный багаж для посмертного путешествия, если таковое существует, и он не включает в себя потребных валериановых капель.

— Да, увы, не включает, — задумчиво протянул в ответ Марбург, — и, к сожалению, этого рода капли, те, которые могут быть получены, для нас, по законам духовной диффузии, не годятся.

Оба умолкли.

— Мне вспомнились розенкрейцеры первичной формации, Адольф Семенович.

— Вполне уместно, но... такое же но, Петр Эрастович.

Знаменательны были эти слова в устах этих людей — искусные пловцы по житейскому морю, они теряли паруса в конце плавания. Уходили, затуманивались интересы их прошлого; борьба, достижения, успехи, весь блеск земного существования угасал перед лицом надвигавшейся ночи вечности; ибо только вечность, подавляющая своей неуловимостью, с тусклым оконцем астралья, была последним прибежищем этих материалистических эпигонов мистически настроенных предков. Чистого «ничто», растворения без остатка в материи дух их приять не мог, но они же были духовно бессильны подкрепить себя какой-либо, переходящей в уверенность, доброй надеждой.

VII

ВЕРА ВСТУПАЕТ В ЖИЗНЬ

Затянулось пребывание Блаватских в Стокгольме и оборвалось смертью Петра Эрастовича. Он умер скоропостижно, погрузив Веру в бездну отчаяния и сознания своей затерянности на свете.

Положение усугублялось тем обстоятельством, что Кребтри, после целого ряда восторженных писем, вдруг умолк совершенно.

Попытки Веры снестись с его родными дали результат неутешительный; отклик последовал лишь на третье письмо, то, которое было написано самим Блаватским. Сообщалось очень сухо, но одновременно в каком-то неуверенном тоне, что, надо полагать, Джозеф Кребтри пропал без вести в боях с германцами; где, когда, при каких обстоятельствах — об этом умалчивалось. Дальнейшие старания получить более определенные сведения, добиться либо подтверждения печального факта, либо его опровержения остались безо всякого ответа.

Блаватский, как мог, старался утешить свою любимицу, но к Блаватскому пожаловала смерть и начисто осиротила бедную Веру.

Доктор Съёберг, его симпатичная супруга, Марбург, — все выказали много сочувствия, аранжировали печальную процедуру похорон и проявили тахитит внимания к Вере.

Марбург с поразительной быстротой и в высшей степени дельно урегулировал имущественное положение юной и, как оказалось, богатой наследницы. Лучшего душеприказчика не мог бы избрать Блаватский; но делец, финансист и политик Марбург был бессилен бросить зерна утешения на пустырь, образовавшийся в сердце девушки.

Прозрев, как обстоит дело, он не счел более возможным удерживать Веру и отпустил ее, в сопровождении вполне надежной и симпатичной Вере фру Линнеман, одинокой и нуждавшейся родственницы Съёбергов.

Марбург снабдил Веру рекомендательными письмами к ряду своих влиятельных знакомых и, прощаясь, заверил о всегдашней готовности быть полезным, обещал заботиться о имущественных делах Веры до ее недалекого совершеннолетия и просил всегда видеть в нем друга.

Что же, собственно, решила предпринять Вера и куда направлялась?

Она, как сказано было, хотела получить точные данные о судьбе своего жениха, но уязвленная гордость закрыла перед ней путь непосредственного обращения к родственникам Кребтри, на это она решилась бы лишь в крайности. Вот почему был принят совет Марбурга прибегнуть к помощи платной агентуры. Однако его указание, что нет надобности в отъезде из Стокгольма, было оставлено без внимания.

Не сиделось Вере в этом надоевшем городе, где она только что перенесла тяжелую утрату. Путь оплакивания своего опекуна, с каждодневным посещением его могилы и тому подобным, оказался не в натуре Веры; она запечатлела внутри себя воспоминание о дорогом «дяде Пете», а в остальном решительно рвалась к жизни, а эту жизнь в настоящий момент представлял для нее Джозеф Кребтри, человек, которого она теперь наиболее почитала за своего и который нашел место в ее сердце.

У Веры, насколько можно было предполагать, не было близких людей среди эмиграции, да и вообще родственников она почти не имела, так что, когда пришлось решать, куда именно она направляется, возникло затруднение. Довольно нелогично был избран Париж, а опорными точками должны были послужить тамошние друзья Марбурга.

Таинственная область предчувствий, но оттуда пришло к Вере наиболее правильное решение — именно в Париже ее неуверенные руки быстро наткнулись на путеводную нить и из этого города протянулась ее стезя жизни, как созревающей женщины, как человека самостоятельно действующего.

Часть вторая

VIII

ПРИЗЫВ

Мое сближение с Мариусом следует отнести к последним годам прошлого столетия; мы были молоды и жадно впитывали в себя то, что под именем оккультного посвящения могли получить в одном из тогдашних центров эзотеризма во Франции.

То был период расцвета «Ordre Kabbalistique de la Rose † Croix», еще не искажившего своих заданий связью с прозаическим масонством; то было время плодотворной работы по восстановлению многих памятников эзотерической традиции и время многих смелых попыток проверки легендарных экспериментов и постановки новых в иерофантическом стиле Элифаса Леви.

Течение жизни отбрасывало нас друг от друга неоднократно, но связь между нами не порывалась. Мариус навсегда остался горячим адептом оккультизма, мой же интерес переместился значительно в сторону и мы не виделись уже довольно давно.

Я находился в одной из молодых республик северной Европы; отдыхал в деревне, в достаточной глуши и в обстановке столь удаленной от всего, что меня ожидало.

Дождливое в начале лето наконец установилось. Плющ, до того прозябавший, быстро наверстывал потерянное и покрыл уже всю решетку по бокам выходившей в сад веранды. Я полулежал в качалке, задумчивый, но беспечальный. Нежно благоухали пышные розово-белые пионы, желтые лилии присоединяли свой экзотический, магнолиеподобный аромат, а из глубины сада доносился земляничный запах запоздавшего в цветении жасмина; протяжно и ласково посвистывала невдалеке иволга, умолкла; на смену ей, с еще нескошенного клеверного поля, уже приступал к вечернему потрескиванию дергач.

Резкая нота ворвалась вдруг в гармонию угасавшего погожего дня — ожесточенно залаял мой добрый приятель,

пес «Пайлотт»; загромыхала его цепь и я поднялся, чтобы взглянуть, в чем дело. То был нарочный с ближайшей почтовой станции, вручивший мне телеграмму.

Я вознегодовал на такое нарушение моего спокойствия, резким движением вскрыл бланк и прочел:

Ждем Марсель не позднее пятого

Гюйенн 3.

А, так вот оно что; это было серьезно.

Только Гюйенн и только Мариус могли прислать мне подобную телеграмму. Во второй раз в жизни наш юношеский договор, скрепленный торжественной клятвой, напоминал о себе; стоявшая в конце телеграммы цифра «3» свидетельствовала об этом.

Итак, они вызывали меня! Они не изменились — искатели эзотерических ключей; их пытливость направлялась по прежнему руслу.

Я отпустил нарочного и впал в раздумье. Что могли они предпринять? Мариус, учитель уже многих, и Гюйенн — знаменитый врач, тайный из боязни повредить своей репутации, но закоренелый оккультист, — пустяками не занимались!

Конечно, я немедленно двинусь; но, признаться, желания не было никакого. Этот вызов клином врезывался в мою тогдашнюю программу жизни, главными пунктами которой были спокойствие и уединение. Затем, я экономил, подготавливаясь к задуманному путешествию на Цейлон и по Индии и мои мысли еще сегодня были там.

Цветет жасмин,
На севере, в моем саду...
Жасминные венки плывут по Гангу,
Как дань мечтам о божестве...
И Индия уже видна в листве —
Идет ее народ, идут жрецы по рангу.

У желтой лилии,
На севере, в моем саду,
Я срезал горсть цветов благоуханных...
И вот на повороте северного сада
Магнолий стройных выросла ограда,
Давно любимых и желанных.

Но делать нечего; если бы даже не существовало между нами упомянутого договора, основательно отдававшего восторженностью и гиперболами юности, я все же поехал бы — звали мои лучшие и испытанные друзья.

IX

БАГАЖ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ В ПУТИ

Мне не хотелось миновать Парижа и я сообразно с этим составил свой маршрут.

Не для встреч и увеселений стремился я в мировую столицу, я просто жаждал окунуться в атмосферу любимого города, свидетеля и восприемника моих юношеских порывов и увлечений. Однако, встреча неожиданная и чреватая последствиями была мне суждена на протяжении тех двух дней, которые я мог уделить Парижу.

Был вечер второго дня; я возвращался с продолжительной прогулки по городу, порядочно утомленный, но и полный приливом воспоминаний, в большинстве таких бодрящих, принесших веяние былых, жизнерадостных лет.

Настоящее как будто уступало свое место прошедшему и я приветствовал его — это прошедшее. Вдруг из толпы, запрудившей широкую панель Севастопольского бульвара, выглянуло, приковало своей северной белизной знакомое девичье лицо. Это была Вера Блаватская со своей неотступной фру Линнеман; это была Верочка из прошлого с ее несложной, но трогательной историей, а жизнь уже очертила для нас общий круг действий.

Когда Вера прибыла в Париж и остановилась, вместе с фру Линнеман, в одном из отелей, ею овладело неприятное чувство человека, сделавшего решительный шаг и опасющегося за его последствия.

Зашевелились сомнения в правильности задуманного и вдруг откуда-то выползла жгучая мысль: пусть Джозеф жив, но за эти годы, такие особенные, он мог перемениться... это молчание... Нет, это было бы слишком тяжело! И как тогда выглядели бы ее поиски?!

Все было так неопределенно, а «дяди Пети», такого рассудительного, так уверенно разрешавшего все сомнения, не было, не было...

Горькие слезы не раз оросили бледное личико девушки, одинокой, остановившейся в раздумье на одном из поворотных пунктов своей жизни.

Стояли жаркие дни и окна отеля были открыты настежь; до слуха Веры доносились обрывки разговора в соседнем номере; она невольно заинтересовалась и стала прислушиваться.

— Я уезжаю в Марсель, Зита, в четверг это дело будет пущено в ход, так хочет Мариус; вы должны быть на посту в условленное время.

— Но я не справлюсь со всем этим, я, наконец, боюсь подобных вещей, — слышался протестующий женский голос.

— Иначе не может быть, Зита, и вы дали слово, более того — торжественно обещали, а затем, после моего отъезда, вы не будете в одиночестве. N... (прозвучала моя фамилия) известил уже телеграммой о согласии и выехал в Марсель.

— Хорошо, Гюйенн, но это последнее из безумств Мариуса, в котором я принимаю участие.

Вера встрепенулась — луч света блеснул внезапно на темном горизонте! И сейчас же созрело решение; недаром она была воспитанницей Блаватского.

Мое имя, произнесенное за стеной незнакомым женщиной, прозвучало для Веры как гарантия твердого обоснования будущей жизни, странная же тема подслушанного обрывка разговора ее несколько не интересовала и она поспешила отойти от окна.

Несколько смело определила меня Вера в свои покровители; мое знакомство с Блаватским оставалось всегда довольно поверхностным, но я, в данном случае, был единственным, представлявшим собою для девушки прошлое, ясное и уверенное, и я был все же в почете у «дяди Пети» и я был «свой».

Вера не медлила с исполнением задуманного. Дождавшись, когда ее соседка осталась в одиночестве, она сейчас же командировала к ней с соответствующими инструкциями фру Линнеман. Последняя вскоре вернулась и переда-

ла приглашение прибыть для переговоров и ближайшего выяснения, в чем, собственно, дело.

Достаточно наивно, но ограждая чувство собственного достоинства, обрисовала Вера свое положение и просила указать, когда и где можно будет свидеться со мною. Должно быть, было много подкупающего в ее рассказе, в самой Вере, что смягчило первоначальную настороженность Зиты. Она пояснила своей собеседнице, что мой приезд ожидается в ближайшие дни, что я известное время пробуду в Марселе и что она позаботится сообщить мой адрес и, в свою очередь, уведомит меня о желании Веры.

Однако такой образ действий Вера отвергла; ей, томившейся в Париже, очень живой по натуре, не сиделось на месте, а в глубине души она опасалась возможности утраты свидания со мною, пока пойдет переписка.

— Было бы лучше всего, если бы вы позволили мне ехать с вами, — заявила простодушно Вера.

— Я не могу воспрепятствовать вам, *mademoiselle*, следовать за мною в Марсель, но раз таково ваше намерение, то я должна предупредить, что, в силу некоторых обстоятельств, вы на протяжении недели не получите возможности самостоятельно добиться свидания с вашим другом; он будет в постоянных разъездах, — схитрила Зита, — и единственно через меня может быть уведомлен о вашем желании.

Затем ей, по-видимому, стало жалко опечаленной Веры и она добавила:

— Условимся лучше так — приезжайте в Марсель через несколько дней, остановитесь, скажем, в отеле «Regina», что на площади Сади-Карно, первоклассный, а я, как только прибудет *monsieur N...* (Зита назвала мою фамилию), сейчас же направлю его к вам.

На том и порешили.

Вот, что, в моем вольном пересказе, произошло с Верой в Париже.

Я выслушал ее вполне откровенную повесть, я внес освежающую ноту в мир переживаний Веры, обнадежил всачески, но роль «дяди Пети», бессознательно подсовывае-

мая мне, — видит Бог — еще не была для меня подходящей.

Как меняет нас жизнь! И хорошо, когда ее рука дарит, не отнимает... Трудно было в прелестной, вполне сформировавшейся девушке признать Верочку прежних дней, но та особенность облика Веры, которую я заметил некогда, теперь выступила еще резче — бледность лица, необычайная чистота его линий, полуспущенные обычно веки и то общее впечатление одухотворенности, но как бы неразбуженной, притаившейся.

Какая противоположность между ними — Зитой и Верой! Завораживающее дыхание земного, прелесть летней ночи, очарование сияющего дня, все могущество притягательной силы земли находили нечто созвучное с моей возлюбленной и налагали печать на ее существо. О, милая, как возможно было это — ты и мрачный Мариус?!

Но я забежал вперед. Это извинительно — в этих воспоминаниях, таких свежих, некоторые ноты звучат еще слишком сильно и пережитое властно врывается в рассказ.

— Пока что, Вера, мне ничего неизвестно о той особе, с которой вы условились относительно меня. Но вполне очевидно, что она действовала, сообразуясь с какими-то серьезными обстоятельствами, а потому не будем менять плана. Все дело упростилось благодаря нашей встрече здесь и мы уже не потеряем друг друга из виду.

Я называл Веру по имени: — для меня это нужно, нужно, — просила она.

Вот она жизнь, ее зигзаги и неожиданности, — подумалось мне.

Ночью я уже ехал в Марсель, достаточно на сей раз заинтригованный, расшевеленный.

Х

MARE NUBIUM

Мистическое, паче того оккультное — говорят многие — это лунное «Mare Nubium» — море облаков, море, которого в сущности нет, ибо оно только пустынная равнина, изменчиво освещаемая.

Пусть так ...

Однако для иных неистребима потребность выйти из круга уверенной повседневности, бедной по объему и пугливо уходящей в себя. Океан неведомого плещет вокруг!

Океан плещет от века вокруг небольшого острова, заселяемого поколениями людей.

ХІ

НА МЕСТЕ ДЕЙСТВИЯ

В Марселе меня встретил Гюйенн, предупрежденный телеграммой. Он был очень доволен моим прибытием, о чем сейчас же и заявил.

— Мой дорогой, я трижды рад видеть вас: как старого друга, как соучастника в затеянной Мариусом истории и, наконец, как смену на ответственном посту. Я думаю, вы основательно были удивлены, когда я так энергично затребовал вас с севера на юг. Но что оставалось делать — Мариус настаивал на этом.

Было нестерпимо жарко, я был голоден и потому мы поспешили под гостеприимную сень одного из знакомых с давних пор ресторанов, где Гюйенн и посвятил меня во все обстоятельства сумасбродной, но и достойной почтительного удивления попытки, предпринятой Мариусом.

— Гюйенн, вот мы здесь прохлаждаемся, а кто же при Мариусе? Разве той особы, той Зиты, о которой вы так распространяетесь, достаточно; женщина, любовница и подобная роль?! Не слишком ли уж?

Гюйенн залился веселым смехом:

— Зиту, мой друг, нужно видеть и больше ничего, только видеть; ну, и смотреть за собой! Такие дочери Евы нечасто рождаются.

Самоуверенность Гюйенна, непререкаемость его тона начинали злить меня и я дал понять, что мне известно, как неохотно Зита вошла в это дело.

— Ah bigre! Откуда у вас подобные сведения?!

— В парижских отелях имеются окна и они бывают открыты, любезный доктор.

Гюйенн встревожился, и я поспешил его успокоить, пояснив, как было дело.

— Однако, все же, не пора ли нам двинуться? — напомнил я.

Гюйенн взглянул на часы, быстро вскочил и нетерпеливо потребовал счет.

— Уже пять, а в семь с минутами уходит мой поезд; мы действительно должны торопиться. Коль скоро вы здесь — я свободен, а в бретонских курортах у меня подобралась отличная партия больных; чудаки верят в мою медицину, а главное, платят очень хорошо. Конечно, информируйте меня и — чуть что — я буду по первому зову.

Мы сели в автомобиль и с шумной Quai des Beiges, где находились, отправились в северную часть города. Ехали долго; наконец, на одной из тихих, окраинных улиц Гюйенн дал знак остановиться. Он отпустил шофера, взял меня под руку и мы, пройдя еще квартал, свернули в переулок и очутились перед очень милым домиком-особняком.

— Вот здесь временная резиденция Мариуса и его прелестной подруги; очень уединенное местечко и вы отлично проведете время, — пресерьезно заявил неисправимый Гюйенн.

Он, должно быть, совсем не переменялся, этот доктор-весельчак, занимавшийся подчас весьма мрачными делами.

В доме не было никакой прислуги, да и не должно было быть, и нас впустила Зита.

Обстоятельства дела были таковы, что до крайности упрощали церемонию знакомства, и мы все трое сейчас же отправились в комнату, где находился Мариус.

Конечно, он «находился» и все было в порядке, а потому уже через несколько минут состоялось прощание с доктором, который торопился в свою гостиницу за вещами и затем на поезд.

— Мои друзья, что такое жизнь, как не искание?! Отбросьте его и что получится? — физиология, с прибавкой обманчивой игры чувств и заботы о наполнении кармана.

Так простился с нами Гюйенн и мы остались вдвоем — Зита и я. Не могли же мы считать Мариуса третьим!

Мы остались вдвоем.

В абсолютной тишине дома, в присутствии живого, но остановившегося на пороге смерти человека, остались мы, и там, где чувствовалось колыхание мрачного покрывала

Конца, затрепетали вдруг сияющие одежды Начала, родилась и утвердилась уверенность, что наша встреча из тех, которые на счастье или на горе вяжут мужчину и женщину одной из крепчайших нитей Рока.

ХП

ЗИТА

Мариус, Мариус! Ты жестоко отягчил свою карму! — не могу не воскликнуть я. Восьмиконечный крест Великого Иерофанта ты применил как ключ к женскому сердцу и ты остановился на третьем повороте, непозволительно не довершил его.

Ты скажешь в свое оправдание, что снял Зиту с колен жалких развратников в жалких кабаре, что, взамен шатания по современным лупанариям, ты предоставил женщине готические своды твоего замка, что частью возвысил ее до понимания сокровенных пружин совершающегося, что... О, ты многое можешь сказать. Но останется неопровергнутым одно и самое важное: недостойное вовлечение существа неподготовленного в великую игру эзотеризма.

О, хромой мудрец, шагавший как будто прямо! Ты, попросту, не научился еще обходиться без женщины.

Но остановись, мое перо, умолкни, моя филиппика, ибо где ты, безупречная прямолинейность, а иные объятия неотвратимы и мне ли, мне ли греметь, осуждая?!

Уход Гюйенна знаменовал собою необходимость стабилизации положения и мы приступили к распределению обязанностей по охранению покоя Мариуса. Конечно, все объективные меры безопасности были приняты в самом начале; здесь было многое, в том числе сложная сеть волевых усилий со стороны Мариуса, определенная тренировка духа и тела, а затем чисто магические мероприятия, в которых приняли участие Гюйенн и Зита, в особенности последняя.

Главное, чего опасался Мариус, это преждевременного окончания задуманного им. Ведь оставалось неизвестным, мог ли он анимической частью своего существа удержаться так долго в отдалении от тела. С другой стороны, возникал вопрос, не было ли смертельной опасностью длить такое состояние до положенного Мариусом срока, длить при помощи Зиты, прошедшей, как оказалось, специальную

подготовку, концепция которой всецело принадлежала Мариусу и лишь основывалась на общем эзотерическом достоянии.

Столько здесь было неясного; к счастью, наши действия точно регулировались программой, составленной самим Мариусом.

Пока был Гюйенн, он наблюдал за всем и за точным выполнением Зитой условленного, а теперь роль контролера, ну и сведущего человека перешла ко мне.

Я готовь был предложить Зите распорядок, сводивший ее роль до *minimum*'а, до обязательного появления в час ее, как бы сказать, своеобразного общения с Мариусом; забота о моем пропитании отпадала, так как все было заранее заготовлено в доме, а электрическая кухня упрощала остальное. Я было и начал в таком духе, но осекся, вдруг вспомнив, что одно немаловажное обстоятельство заставляло быть осторожным: Мариус, в случае своей смерти, делал меня соучастником в наследовании своего громадного состояния! Здесь таилась серьезная опасность. Был же Мариус в том особенном, неучитываемом положении, ежеминутно на грани смерти и, произойди таковая без свидетелей, в присутствии меня одного, — какое тяжкое, пагубное по обстоятельствам дела, подозрение повисло бы надо мною! «Берегись данайцев и дары приносящих!» — вспомнилось мне.

Впрочем, нет, нет — Мариус здесь ни при чем. Он доверился мне в степени, какая только доступна человеку; затем, существовал ведь Гюйенн, уверенный во мне, как в самом себе, готовый всецело поддержать своим авторитетом.

Но, тем не менее, осторожность не была излишней.

Зита, очевидно осведомленная и потому понявшая, что во мне происходит, с интересом ожидала, чем закончу я прерванное к ней обращение.

Я чистосердечно изложил ход своих мыслей.

— Морис, — она и не подумала назвать меня иначе, — Морис, наши дороги сошлись у астральных дверей, приоткрытых Мариусом, и нам следует быть вместе.

— Благодарю вас, — просто ответил я, — за согласие и за «Мориса».

Последнее как-то само собой сорвалось с моего языка.

— Официальности были бы смешны в нашем положении, Морис, а затем — Морис и Зита, это красивое сочетание и, праведное небо, нам сейчас не достает красоты!

Странный огонь вспыхнул и погас в чудесных глазах женщины.

ХІІІ

МРАК И СОЛНЦЕ ЖИЗНИ

В одной из комнат дома лежало бездушное тело моего самого близкого друга, а я, вместе с самой близкой ему женщиной, охранял покой этого тела и обязывался воспрепятствовать возврату его к жизненной деятельности, пока не минует определенный срок.

Исключительность, единственность положения состояла не только в этом и даже не в самой сути опыта, — экстериоризация астросома все же известна — а в нормировке человеческой волей срочности возврата астрального двойника в занимаемую им физическую оболочку и особенно в продолжительности предпринятого эксперимента.

Мы нередко переживаем экстериоризацию во сне, она может быть сознательно поставлена как опыт, но сделать из нее экскурсию за пределы собственно материальной жизни в таком виде — на это первый решился Мариус.

Девять дней, сказал он себе, я должен быть в состоянии расщепления моего существа и я хочу проверить, что будет на протяжении этого времени и после него; а если все обойдется благополучно — я предприму вторую попытку, уже на срок сорокадневный.

Девять дней — это период, в течение которого, в случае натуральной смерти, астральное тело человека постепенно покидает тело физическое, а период сорока дней есть предельный для сохранения какой-нибудь связи между ними.

Мариус проникся желанием проверить эзотерическое понимание физической смерти и ответить, если не всем, то могущим ему поверить, на вопрос: что встречаем мы на последней ступени жизни, сейчас за воротами, на которых виднеется мрачное слово «смерть», и потому он избрал срок девятидневный. Он безбоязненно поставил на карту свою жизнь, руководимый священной любознательностью человека, идущего бестрепетно по пути познания.

Я преклонился перед величием духа Мариуса и подумал, что праху именно таких людей подобает место в Пантеоне человечества.

К тому, что дают объяснения из области культов, к утверждениям оккультного порядка, к предположениям и сомнениям философского свойства должно было присоединиться достоверное свидетельство Мариуса о мрачной, запредельной стране!

Я трепетал, задумываясь над многими опасностями, которые угрожают экстериоризованному астросу; десятки раз в течение дня и ночи заходил я в комнату Мариуса, но все было в порядке, тело оказывалось ненарушенным и свидетельствовало о благополучном странствии двойника, ибо неоспоримо известно, что всякое повреждение такового отражается с математической точностью на остающемся с ним в особого рода связи физическом теле.

Но, может быть, Мариус «ушел» и уже не в состоянии «вернуться»? Предположение это казалось неправдоподобным по ряду специальных оснований, а затем, был уже пятый день опыта и, случись разрыв астросома с телом, то есть смерть, на второй, даже на третий день — появились бы уже признаки разложения. Так с каждым днем возрастала моя уверенность в успехе опыта, но с каждым же днем росло и угрожающе укреплялось отвращение, которое проявляла Зита к своим обязанностям и я уже принял некоторые меры предосторожности.

— Зита, — счел я необходимым уяснить положение, — будьте мужественны и выполните вашу роль до конца, как следует; игра стоит свеч!

Уже три дня провел я в тесном общении с Зитой; мрачны были они по своей обстановке, но солнце жизни радостно светило мне и в его лучах сверкало мое личное счастье. О, если бы не этот молчаливый третий, Мариус, — я натворил бы глупостей! Много чудесного обещал я себе и Зита не скупилась на очарование, но все же я не мог ожидать того, что наступило так скоро.

— Мне опротивело все это, Морис, до последней крайности; это самое мрачное занятие, какое только можно

придумать. Я имею много оснований быть благодарной Мариусу, мы были близки друг другу, но теперь, — голос Зиты зазвучал страстной решимостью, — но теперь мы квиты! Живого, полуживого или мертвого, я более не желаю ни знать, ни видеть его. Морис, — продолжала она, — пусть смерть будет такой, какая она есть, — самым отвратительным и самым загадочным из событий, с которыми связан человек, но с меня довольно этой игры с нею. Вызывайте Гюйенна и пусть он вместе с вами, а лучше бы без вас, принимает меры к воскресению, соединению, или как там еще, Мариуса; я остаюсь пассивной и если бы не вы, Морис, я, невзирая ни на какие последствия, сегодня же бежала бы из этого проклятого дома!

Я понял, что струны уже сильно натянулись и порадовался, что еще вчера, учитывая настроение Зиты, телеграфировал к Гюйенну о немедленном прибытии; затем я опять обратился к Зите.

— Сейчас утро, Зита, и утро уже шестого дня; с другой стороны, я понимаю ваше состояние; но оба мы — я некогда, а вы недавно — дали Мариусу торжественные обещания и мы не должны об этом забывать. Гюйенн вот-вот появится и, конечно, все необходимое будет предпринято для облегчения Мариусу возврата к нормальной жизни, хотя, в существе дела, это зависит, собственно, от него. Жаль, однако, обрывать опыт, когда столько уже пройдено и я спрашиваю вас, действительно ли и совершенно ли угас в вас психический стимул, необходимый для поддержания той связи с Мариусом, от которой вы отказываетесь. Зита, — настаивал я — если это не так, то сделайте еще одно усилие в сторону исполнения желания Мариуса и, в крайности, пусть оно будет последним. Я очень прошу вас, — нам необходимо быть безупречными по отношению к воле Мариуса.

— Это будет трудно для меня, Морис, и было бы невозможно, если бы не ваша просьба.

— Но ваша просьба... — подчеркивая свое согласие, протянула Зита.

— Вот это хорошо, и позвольте вас сердечно поблагодарить, дорогая, — вырвалось у меня, когда я целовал ее руку.

— Вот это хорошо, сказали вы, но над хорошим есть прекрасное, не так ли? — поставила она странный вопрос.

— На каком основании назвали вы меня «дорогая» и почему ваш поцелуй еще горит на моей руке? — поставила она второй и третий.

Я молчал, но глаза мои говорили.

С непередаваемой нежностью зазвучал опять голос Зиты, но в нем звенели и решительные ноты.

— Морис, чаша жизни полна сейчас чудесным напитком и мы — это я говорю вам, — мы напьемся из нее. Законна смерть, законна и любовь, расцветающая хотя бы на могиле; на то место упали ее семена и повинен в том ветер!

Как ослепительно ясно все стало! И наступил финал первого действия, в таких мрачных условиях вспыхнувшей, нашей любви.

Мариус, все великие возможности, все угрюмые знаки вопроса слились в одно легкокрылое облачко, осевшее волнующим туманом в крови.

Резко, повелительно, как сама судьба, прозвучал условный стук в двери — стучал Гюйенн.

XIV

КАТАСТРОФА

— Что случилось? — Гюйенн обвел нас взглядом своих пронизательных глаз.

— Пока ничего, но все может случиться и потому я вызвал вас, — было моим ответом.

В дальнейшем я охарактеризовал положение дел.

— Я согласен с вами, — заявил Гюйенн, — пусть еще сегодня Зита исполнит, что ей полагается, а там — конец; иначе, я вижу, нельзя и Мариус не должен быть в претензии — хватит с него на сей раз и почти семидневной прогулки.

Мы сделали осмотр Мариуса — все было по-прежнему; затем наступил и урочный час.

Полная тишина водворилась в доме, как вдруг последовал легкий, но исполненный ужаса вскрик, что-то тяжелое с грохотом упало и Гюйенн бросился в комнату Мариуса, а вслед за ним и я.

На полу в бессознательном состоянии лежала Зита!

Я, как безумный, подскочил к ней, схватил в объятия, стремительно вынес в соседнюю комнату и стал звать Гюйенна на помощь.

Последний через минуту явился, сунул мне флакон с нашатырным спиртом и сурово заявил:

— Ни звука, это может погубить Мариуса!

Я не без труда привел в чувство Зиту, безмерно обрадовался и, держа ее в объятиях, все шептал — «тише, тише». Тем не менее, в эти минуты я почти забыл о Мариусе.

— Что это было, Морис?

— Конец, дорогая, какой бы то ни было, конец всей этой истории.

Через несколько времени появился Гюйенн и опять его пронизательные глаза скользнули по мне и Зите; она полулежала на кушетке, а я сидел подле и, уже без всякой надобности, смачивал ее виски одеколоном.

— Всею свое время, о влюбленные, а теперь будем серьезные: наш общий друг испытал только что — я почти уверен в этом — величайшее из возможных затруднений и, кажется, не смог его преодолеть. Час-другой и мы будем знать точно.

Зита приняла это сообщение довольно безучастно, а я, наконец, встряхнулся и явственно осознал, что доктор говорит о вероятной кончине Мариуса.

— Почему вы так думаете, Гюйенн, все ведь может светиться лишь к скорейшему возврату Мариуса в нормальное состояние; это вполне вероятно.

— Пойдем, — коротко отрезал Гюйенн.

Полчаса, не более, протекло с момента обморока Зиты, но его, да, его, по-видимому, роковые последствия были уже налицо — Мариус представлял собою труп, о чем бесстрастно и заявил Гюйенн, окончив обычное медицинское констатирование факта смерти.

— Как жаль, как жаль, — задумчиво заметил он, — такой чудесный опыт, и мы были почти на рубеже успешного его завершения и кто еще, смелый, решится повторить подобное; да, узки двери второго плана вселенной для сознательно туда проникающих. Но Зита, Зита; признаться, я никак не думал, что она сдаст так скоро и до такой степени.

При этих словах Гюйенн как-то укоризненно вскинул на меня глаза.

— Но, Гюйенн, разве не должны были мы поступить так, как поступили; указания Мариуса...

— Ах, не в этом дело, — раздраженно прервал он меня — Мариус сейчас мертв и, пожалуй, многим перестал интересоваться, но вот что странно и достаточно необычно...

Гюйенн взял меня за руку, подвел к телу Мариуса и произнес:

— Видите... и это менее чем через час после смерти!

Я взглянул и с ужасом и отвращением заметил признаки начинавшегося разложения.

— Если это пойдет таким же темпом, то при жаре, какая стоит, он не далее как через сутки будет совсем готов; нам нужно торопиться с этими дурацкими формальностями.

Вы здесь чужой и я все устрою сам, а вы понаблюдайте за Зитой и пусть она не мешается более в это дело, — свирепо кинул встревоженный Гюйенн.

Он действительно все устроил, несмотря на трудность положения, и через 48 часов тело Мариуса, в цинковом гробу, было предано земле на кладбище Saint-Pierre. Провожали я и Гюйенн, Зита наотрез отказалась.

На возвратном пути я спросил Гюйенна, что за причина столь быстрого разложения; не стоит ли она в связи с внезапным, вероятно, разрывом флюидической ленты, так называемой астральной пуповины, соединяющей тело с астросомом в случаях расщепления личности.

— Отчасти да, но вы не должны забывать, что раз опыт Мариуса окончился его смертью, то выходит, что Мариус был как бы в отпуску у этой милой особы в течении шести дней; вот она и наверстала потерянное. А кстати, не узнали ли вы от Зиты, что, собственно, предшествовало ее обмороку?

— Зита крайне неохотно говорит на эту тему, и я ничего от нее не добился.

Гюйенн потер по своей привычке лоб, а затем уже давящим, свойственным ему насмешливым тоном заявил:

— Скверно поступила она со своим великодушным патроном; такая нервность, а ведь, кажется, достаточно были знакомы!

— Прощай, старый друг, до вероятной встречи и не поминай нас лихом! — полувоскликнул вдруг Гюйенн, повернувшись лицом к еще видневшемуся кладбищу.

— Пора, однако, — начал он опять, — ликвидировать всю эту печальную историю. Для меня в ней оказались одни потери. Ваше положение много лучше, и вот почему: Мариус оставил вам круглую сумму, она при мне, в конверте, собственноручно запечатанном и надписанном Мариусом; никаких хлопот, никаких формальностей, а вы сумели еще увеличить наследство, так блистательно, как я заметил, поладив с Зитой...

— Гюйенн!..

— Что Гюйенн?! Гюйенн ваш старый друг и, чтобы пресечь в корне всякие неуместные поползновения, вот что скажет вам: еще за два года до того, как Мариус решился на свой опыт, вы были его частичным наследником; это говорю вам я, его душеприказчик. Тогда к вам должна была перейти из состояния Мариуса такая же сумма, но без всяких ограничений, а сейчас... впрочем, получайте пакет — деньги и письмо Мариуса внутри.

Не без колебаний принял я это посмертное доказательство привязанности ко мне Мариуса.

Вот что писал он: —

«Дорогой друг!

Если это письмо будет вручено Вам, значит, вместо радостного рукопожатия при нашей встрече, мне суждено сказать последнее «прости». Пусть мы не признаем ничего «последнего», но в нашем лексиконе пока нет уверенного заменяющего термина, ибо густ еще сумрак, окутывающий планету, ее обитателей.

Я распорядился своим состоянием; верный наш сотоварищ, Гюйенн, позаботится обо всем, а Вы не откажетесь принять оставляемую Вам сумму, как выражение земной признательности, как облегчение на жизненном пути от Вашего, ушедшего в беспредельность, друга Мариуса.

Зита остается вполне обеспеченной, но она, поскольку проницательность меня не обманула, существо, которое не поддается точному учету. Вы будете добры поддерживать ее нравственно и материально, если в последнем встретится надобность, и окажете Зите всяческое содействие в случае возникновения возможности восстановить какую-нибудь связь между нею — живой и мною — отошедшим. Я верю в эту возможность и, будучи «там», не премину стремиться к тому, что «здесь».

И я не заканчиваю печальным «про-
щайте», а бросаю вызывающее «до свидан-
ия».

Ваш Мариус П.»

- Гюйенн, воля Мариуса будет исполнена в точности.
- В добрый час, — задумчиво уронил он мне в ответ.

ДОРОГОЕ

В тот же день, когда окончил свой земной путь Мариус, Зита переселилась в упомянутый уже отель «Regina», куда должны были прибыть Вера и фру Линнеман. Я устроил Зиту в этом месте ради общества последних и для собственного удобства, как новопожалованный в опекуны над этими женщинами.

Зита всеми фибрами своего существа стремилась окунуться в поток жизни, отогнать от себя серые — как говорила она — тени царства мертвых, но прежде всего она рвалась из Марселя. Мы были неразлучны и она отпускала меня лишь по требованию Гюйенна, нуждавшегося в моей помощи при устройстве некоторых дел, стоявших в связи со смертью Мариуса.

Но вот все было покончено и Гюйенн уехал, а взамен его прибыли Вера и ее *dame de compagnie*.

— Морис, ненаглядный мой, скорей, скорей из Марселя; здесь надо мной властвует память тех дней! Морис, туда, далеко, за океан!

Мог ли я отказать моей единственной?! Она желала и, следовательно, я хотел.

Так, неожиданно и по причинам столь особенным, ускорила реализация моего давнишнего намерения посетить Цейлон.

Ах, как хорошо это вышло, что Марбург, как раз в это время, энергично потребовал Веру в Стокгольм для завершения имущественных дел в связи с наступившим уже ее совершеннолетием, и что фру Линнеман пришла в слишком большое волнение по поводу предложенного ей Верой путешествия вместе с нами на Цейлон.

Вера имела в виду тетку Кребтри, жившую, как он ей говорил, в Коломбо, надеялась узнать от нее все интересное. Но она колебалась; ведь это было бы как раз то непосредственное обращение к родным жениха, которого она

хотела избежать, и кто знает, жила ли еще эта тетка Джозефа в Коломбо, на Цейлоне вообще и была ли она в живых.

Я всполошился, когда, вслед за этим, получено было Верой известие от одной из специальных агентур по розыску, что след Джозефа Кребтри отыскался. Это был форменный акт с указанием всех шагов, предпринятых в целях розыска, с подробным исчислением произведенных расходов, с предложением доплатить круглую сумму к уже полученному солидному, авансу и в конце сообщалось, что мистер Джозеф-Джеральд Кребтри, стольких-то лет, родом из Инвернесшира, участник мировой войны, был тяжело ранен, продолжительное время находился на излечении в различных французских госпиталях, вернулся в Англию и, сравнительно недавно, отбыл, в сопровождении какой-то дамы, на Цейлон. В сообщении, очевидно, намеренно, с заглаженной целью дальнейшей эксплуатации щедрой клиентки, отсутствовала точность, не хватало дат и оно заканчивалось вопросом, надлежит ли (по урегулировании представленного счета) продолжать наведение справок.

Я поспешил выступить с программой лишь чуть-чуть лицемерной: как-никак, мне хотелось, чтобы даже такой, как Вера и фру Линнеман, помехи не было во время нашего плавания с Зитой.

— Было бы лучше всего, — убеждал я Веру — дожидаться письма от меня из Коломбо, проверить, там ли Кребтри, разузнать все, взвесить неожиданности, которые ведь могут оказаться, и тогда принять решение. Поездка на Цейлон сама по себе нешуточное дело и разве меня там не будет?! Нельзя пренебрегать и вызовом Марбурга.

Я на минуту умолк и продолжал опять.

— Сделаем так, Вера: отправляйтесь вы в Стокгольм, устройте там, что следует, проведите могилу Петра Эрасовича, — Вера вздрогнула, — и ждите известий от меня, а если вам уж очень не терпится, то, покончив, с чем надобно, в Стокгольме, возвращайтесь в Марсель, в ту же «Регину», а я сюда пришлю вам полный отчет и обещаю, в случае необходимости, перерыть весь Цейлон.

Мои доводы были разумны, Вера была рассудительной, а фру Линнеман рвалась в Швецию и сгоряча пообещала Вере, что, побывав на родине, она потом уже будет согласна сопутствовать Вере хотя бы и на Цейлон.

Так уладилось это дело.

— Фру, вы называли меня сумасшедшей, а смотрите, как хорошо все выходить!

И Вера благодарно пожала мою руку, мило сощурила в мою сторону глаза и, наверное, теперь уже сознательно в глубине своего сердца возвела меня в преемники «дяди Пети».

Славное существо, — подумал я и поспешил к Зите.

Да, в это время все мы торопились — Вера в Стокгольм и обратно, к возрожденной мечте своей любви, а я и Зита в простор морей и океана, к реальному факту нашей песни песней.

Зита с удовлетворением выслушала мой доклад и, собирая вещи, лукаво и не без торжества заметила:

— Морис, пусть та девушка ищет, а мы уже нашли.

На следующий день наступил всеобщий разъезд.

Наша поспешность была так велика, что, не ожидая подходящего парохода в Марселе, мы бросились в Геную, чтобы попасть на как раз отходивший оттуда в Коломбо.

Подъезжая к Ницце, я внезапно встревожился.

— Зита, на пароходе могут возникнуть затруднения, тем более он немецкий; мы взяли двухместную каюту, но мы не муж и не жена, по крайней мере по документам.

— Ну так делай мне предложение, глупый... А может быть, может быть, это стесняет тебя? — глаза Зиты вызывающе сверкнули, а затем заволоклись дымкой печали.

— Нет, дорогая, это меня не стесняет, но так опасно быть мужем прелестнейшей женщины в мире.

Мы были одни в нашем купе и нежнейшие руки Зиты обвилились вокруг моей шеи, а ее милый голос прошептал мне на ухо:

— Морис, я немного потерянное создание, но ты получишь все, что может дать женщина своему любимому и что может дать человек человеку.

В Ницце мы повенчались — двое полных веселья людей, спешивших испытать свой кубок радости и наслаждения.

— Морис, теперь я впервые в жизни вполне счастлива — кругом и во мне так светло, так лучезарно, — выразила Зита свое состояние и, должно быть, она определила его точно.

Быстро сменялись события, однако уже более двух недель прошло со дня получения мною телеграммы Гюйенна и на календаре стояло 17 августа, когда мы заняли свою каюту на пароходе северогерманского Ллойда «Coblentz». Это был, по нынешним временам, средней величины пароход, вместимостью около 10.000 тонн, но достаточно солидный и вполне приспособленный для удобного океанского плавания. До 3 сентября, когда ожидалось прибытие в Коломбо, «Coblentz» должен был служить нам домом.

Спасибо тебе, добропорядочное судно, за верную службу в чудеснейший период нашей — моей и Зиты — жизни и да будет благословенно небо, дарившее нас прекрасной погодой на всем протяжении пути.

Только при самом отъезде, в бурливом Генуэзском заливе, морская стихия распалилась было, а затем все, чем она, спокойная, в соединении с голубыми небесами и красотами южных широт, могла одарить, все было отпущено нам полностью.

Лишь в Порт-Саиде да в Адене, в унылых, как нарочно, местах коснулись мы земли, но ранее того скользнули вдоль берегов Корсики, нам улыбнулся Неаполь, белый, отененный фиолетовой дымкой Везувия; одинокий Стромболи напомнил, что близки берега Сицилии, где грозно возвышается Этна — третий свидетель подземной жизни европейской зоны планеты нашей. А потом только море и море, ибо мы прозевали картину Крита.

От мыса Гвардафуй мы почти на неделю простились с сушей и было тогда нас только четверо — наш корабль, Индийский океан, Зита и я. Остальное не существовало; пассажиры «Coblentz'a», с которыми мы встречались, принимали пищу, разговаривали, были только легкими теньями на

розовом фоне этих беспечальных дней нашего свадебного морского пути, когда нам с избытком хватало друг друга.

О, земля, безбрежное море и ты, земное в природе человека, если кому суждено — вы все-таки можете дать упоение!

Показался, наконец, Миникой; этот небольшой остров — коралловая корзина с массой кокосовых пальм — возвестил, что мы не более, как в двух днях пути от Цейлона.

Миновали эти дни, а близость цели отрезвила двоих людей, основательно забывших о внешнем мире.

Вот уже перед нами Адамов пик, Саманала Канд на языке сингалезов, и длинный берег Цейлона.

Здравствуй, Ланкадива! И окажи нам гостеприимство.

XVI

В КОЛОМБО

Мы прибыли на Цейлон в самую жаркую пору. Был сентябрь, а в это время на острове затишье. Период юго-западного, дующего с Индийского океана муссона окончился, а для материкового северо-западного было еще рано, так как он господствует на Цейлоне с октября по апрель. Но это благословенный остров с очень небольшой амплитудой температуры, с климатом ровным, относительно прохладным, во всех случаях выгодно отличающимся от климата соседней Индии.

Коломбо — не лучшее место на Цейлоне и одно из жарких, но мы и не намеревались засесть в этом городе, а отели и даже скромные гостиницы на всем Цейлоне приспособлены к климату, к постоянной, в сущности, жизни на открытом воздухе и в большинстве комфортабельны, что в особенности может быть отнесено к «Grand Oriental Hotel», где мы остановились.

Разглядевшись в Коломбо, уловив темп жизни на Цейлоне, мы припомнили ,обещание данное Вере.

Разыскать мистрис Констанцию Пелль — так звали тетку Кребтри — оказалось делом легким; она была известна в Коломбо, как об этом говорила Вера, и я без труда, через посредство конторы отеля, получил ее адрес.

Мистрис Пелль жила в дачном квартале города, в так называемых «Cinnamon Gardens». Там только виллы европейцев, там все элегантно, очень красиво и чрезвычайно тихо, там как озеро отделяет эти «коричневые сады» от остальной части Коломбо.

В одной из тамошних, прекрасна устроенных вилл мы и были приняты мистрис Пелль и выслушали печальную повесть о Джозефе Кребтри. Отравленный ядовитыми газами, он лишился глаз и совершенно потерял здоровье. В настоящее время его не было в Коломбо; из за наступившей жары он был перевезен в горную климатическую стан-

цию Нуvara-Элия, где его периодически и посещала мистрис Пелль.

— С ним один из его давнишних друзей, — закончила она свое сообщение.

Спокойный, но и насыщенный грустью рассказ тетки Кребтри уяснил все.

Тяжело пострадавший юноша затерялся в суматохе войны, а когда к нему вернулись кое-какие силы, он понял, чем стал. Исчезла тлевшая еще надежда на возвращение зрения и утвердилась уверенность в полной общей инвалидности.

Переправившись в Англию, Кребтри был почти добит смертью своих родителей, уже глубоких стариков, отчаявшихся одно время видеть в живых своего единственного сына и потрясенных, когда перед ними вместо цветущего юноши предстал жалкий калека. Они проклинали все английские победы и ушли в иной мир искать разгадки чудовищного безумия, именуемого войной.

Несчастный юноша выдержал тяжелую внутреннюю борьбу, пока решился вычеркнуть себя из списка живых для своей отнюдь не забытой невесты. Он сохранил ее драгоценные письма, которые, увы, мог только прослушать! Физически убогий, простился он с надеждами своей юной жизни, не подал знака Вере, чтобы уберечь ее от ужаса свидания.

Снесясь с мистрис Пелль, единственно теперь ему близкой, Кребтри дождался ее приезда и сдал себя на попечение этой доброй души.

— Тетя Констанция, мне будет хорошо на Цейлоне с вами, вдали от моего прошлого, и я утешаю себя мыслью, что недолго придется возиться вам со мною, дорогая.

Мистрис Пелль выглядела жесткой старухой, но ее голос дрогнул, когда она привела нам эту фразу своего племянника.

Я сообщил почтенной даме, что обязался честным словом уведомить Веру обо всем, касавшемся ее жениха и высказал уверенность, что ничто не удержит ее от приезда с целью свидания.

Старушка задумалась, а затем без колебаний вынесла свое решение:

— Быть может, Джозеф этого не захочет, быть может, это ускорит печальный конец, но пусть эта мисс приезжает, если ее желание так велико. Я осторожно, в неокончательной форме предупрежу Джозефа, хотя он так ко всему безучастен, а вы позаботитесь смягчить удар, который обрушится на ту девушку, на, конечно, бывшую, — подчеркнула мистрис Пелль, — его невесту.

Мы условились, что я сообщу Вере адрес мистрис Пелль и в письме, хорошо продуманном, не утаю, однако, ничего, а затем все мы будем ждать дальнейшего развития событий. Мистрис Пелль обязалась сейчас же уведомить меня в случае получения ответа от Веры, а я, в свою очередь, должен был информировать о каждой перемене своего адреса.

Под бременем столь печальных известий вышли мы с Зитой из виллы тетке Кребтри.

— Морис, все это в высшей степени драматично. А ты уверен, что *mademoiselle* приедет ?

— Вполне.

— Я приехала бы тоже.

— А что было бы дальше, Зита?

— Ассистировать умиранию я бы уже не смогла, я бы простилась и уехала; я хочу жить, а не умирать, Морис.

О, Зита, Зита, дорогая, как жестоко с тобой обошлась судьба!

XVII

ТИК-ПАЛОНГА

Еще раз, последний раз, взошло солнце моего и Зиты счастья и вдруг погасло.

Предвидя в недалеком будущем приезд Веры и, как следствие его, полосу довольно печальных дней, мы инстинктивно торопились взять от жизни то, что она — сейчас безоблачная — могла дать нам.

Итак, вперед по Цейлону! Правь ладьей нашей, крылатый мальчик, вечное дитя Афродиты и Ареса!

Маленькое разногласие возникло между нами и, конечно, я уступил. Мне хотелось поскорее ознакомиться с памятниками старины, особенно буддийской, которыми так богат Цейлон; Зита оставалась верной своему лозунгу — только живое!

Мы провели чудесную неделю в Канди, где хотя и более сыро, но прохладнее, чем в Коломбо. Именно в Канди, в культурных условиях, уже можно значительно приобщиться к тропической природе и всего семь километров отделяют этот город от прекрасного ботанического сада Перадения, мало уступающего знаменитому Бейтензоргскому на Яве.

Переехать из Коломбо в Канди, это уже значит переселиться в горы. Зита любила горы и она твердо усвоила себе, что цейлонские ядовитые змеи держатся в более низменных местах. А Зита боялась, смертельно боялась быть укушенной и ее приводили в трепет кобры на руках бродячих укротителей, постоянно встречающихся в Канди и его окрестностях.

— Морис, этой гадости здесь не должно быть, ведь мы в горах.

— Дорогая, как раз в Канди очень много очковых змей, и какие здесь горы; вот там, — я указал в сторону могучей пирамиды Адамова пика, — вот там, на больших высотах, действительно не найдешь ни одной змеи.

— Так поедem туда, Морис, и как можно скорее.

— Поедем, но, Зита, змеи опасны ночью, но я ношу при себе шприц, морфий и флакон с раствором марганцовокислого калия, это гарантирует...

— Нет, нет, — энергично прервала меня она, — туда, в настоящие горы.

Этот разговор происходил во время нашей прогулки по берегу реки Махавели, бурной, стремительной и окруженной прекрасным ландшафтом. Мы шли по дороге, носившей название — Lady Blake's Drive; это одна из лучших прогулок в окрестностях Канди.

Вдруг что-то зашуршало в придорожных зарослях и на линию дороги выдвинулась треугольная голова большой и опаснейшей из цейлонских змей, голова «тик-палонги».

Появление змеи в этом месте и в это время было неожиданностью; грозный треугольник сейчас же скрылся и все это длилось мгновение, но его было достаточно, чтобы без малейшего звука Зита осунулась мне на плечо, смертельно бледная, и было видно, что сознание ее покидает.

Как тогда в Марселе, в комнате Мариуса, схватил я ее в объятия и, что было сил, поспешил к ближайшему месту, где могла быть подана помощь...

Здесь я провожу черту, здесь слишком больно!

Примите мой сухой отчет.

Непонятно, таинственно связалось в уме Зиты это явление змеиной головы с эпохой ее фантастического сожительства с Мариусом. Как будто та связь, о которой говорил он в своей предсмертной записке, восстановилась! Только Мариус и больше никто был господином бредовых мыслей Зиты.

А официально это было воспаление мозга. А логика вещей подсказывала, что не напрасно Зита пугливо избегала всякого упоминания о Мариусе — он, образы ее жизни с ним не покидали, должно быть, Зиту ни на минуту и все это пульсировало где-то, загнанное, но не изгнанное, в извилинах ее мозга.

Зиты не стало. Вот единственный непреложный факт. Земля древнего арийского острова, отторгнутой частицы ко-

лыбели расы — Индии, приняла свою дочь, рожденную на далеком западе. Но нет, пожалуй, это неточно, как каждое из утверждений. Ну, тогда просто земля поспешила приять земное.

Да, это так. пышная, темно-пунцовая роза — Зита, страстно возлюбившая жизнь, погибла, ибо взгляд ее в недобрый час упал на треугольный череп «тик-палонги».

Какая изумительная ясность в порядке вещей!

Теперь это уже удаленное прошлое и я спокойно задаю себе вопрос: как сложилась бы моя жизнь с Зитой потом, когда пришло бы время сделать подстановку взамен угасающей страсти?

Я могу задать подобный вопрос, ибо я похоронил свою молодость и знаю, что навсегда. А в то время я готов был ответить добрейшей мистрис Пелль, прибывшей мне на выручку, злобной дерзостью на ее утешительную буддийскую цитату.

Прощай Зита, дорогая, прости мое сомнение в возможности дальнейшего счастья нашего; я не имею права сомневаться — ты и я были тогда равноценны, а предвидеть будущее... Предвидеть будущее, вечно коверкая понимание прошедшего, не зная, как вскрыть истинный смысл настоящего!..

XVIII

В НУВАРА ЭЛИИ

Мы так и не дождались ответа от Веры; получив мое письмо, она, уже вернувшаяся в Марсель, нисколько не медля села на пароход и в один из тех долгих и печальных для меня дней, которые я коротал у мистрис Пелль за разбором ее собрания цейлонских редкостей, Вера неожиданно предстала перед нами вместе с фру Линнеман.

Очень молчаливой, полной недоговоренности была наша встреча.

Мистрис Пелль, ограждая меня от тяжелых расспросов, поведала историю Зиты, а я, скрепя сердце, внес в рассказ кое-какие дополнения. Фру Линнеман было уделено еще более краткое сообщение.

Стало очень напряженно в нашей маленькой группе печальных людей.

— Если вы, Вера, не чувствуете утомления, то, пожалуй, завтра мы можем двинуться в Нуvara Элию, где находится мистер Кребтри. Фру Линнеман останется здесь и отдохнет с пути.

— Конечно, конечно, завтра, — и Вера придвинулась ко мне, как бы ища поддержки.

Надо заметить, что все мы поселились у мистрис Пелль; это вышло само собой; мы точно жались друг к другу.

Нуvara Элия, — ее англичане называют сокращенно Нурелия, — есть место, наиболее ценимое на Цейлоне европейцами, постоянными обитателями острова. Нурелию сравнивают с Энгадином и она видит посетителей даже из южной Индии, приезжающих для отдыха, ради игры в гольф, скачек и иных развлечений; здесь же ищут поправления здоровья, а всем дорог свежий горный воздух. Нурелия лежит на высоте 2000 метров и ей известна температура ниже 0° Реомюра; конечно, этого не бывает днем, когда властвует солнце с его здесь почти перпендикулярно падающими на землю лучами. Кроме того, действительно есть не-

которые черты, роднящие эту горную долину с Европой; это манит европейцев, слишком долго вкушавших красоты тропиков.

Нуvara Элия окружена горами, которые, постепенно возвышаясь, образуют величайшую вершину Цейлона — Пидурутала-галла, или, опять сокращенно — «Педро»; красива гора Хакгалла, замыкающая долину, и изящен недалекий Адамов пик.

Но что нам было за дело до всего этого?! В одном из отелей Нурелии догорал Джозеф Кребтри, а мы сопутствовали его невесте, прибывшей столь издалека, чтобы проститься с ним, чтобы заглянуть в кривое зеркало жизни, приять незабываемый урок.

Милая девушка, его подменили: вместо стройного юноши — калека, кандидат в трупы, вместо спокойного взгляда памятных тебе глаз — красные впадины, стыдливо прикрытые темными стеклами очков! Запомни и то, что твой страдалец-жених — запомни и вооружись на действенное сопротивление в твоём будущем — что он только символ великого множества разноплеменных, разноверных страдальцев, данников подъяремности человеческого духа навязчивым идеям Зла.

Уже последнее посещение мистрис Пелль своего племянника заставляло думать, что его дни сочтены; борьба его тела за жизнь, долгая, но вялая, не подкрепляемая волей к жизни, борьба эта кончалась. Кребтри тогда лишь чуть-чуть оживился при известии о возможности прибытия Веры.

— Я буду рад, я буду очень рад, но я уже не от мира сего и бедняжку ждет... тетя, слова излишни.

Мистрис Пелль, чтобы предупредить больного о прибытии Веры, направились первая в отель, где помещались Кребтри и присматривавший за ним его друг, а мы, я и Вера, стали прогуливаться перед подъездом.

Прошло немного времени и какой-то мужчина вышел из подъезда и направился к нам; две вещи поражали в нём — у него не хватало левой руки и при светлых волосах лицо его было почти также смутно, как у любого сингалеза. Что-то знакомое показалось мне в походке этого человека

и во взгляде его голубых глаз. Но не успел я оформить впечатления, как послышался возбужденный возглас Веры.

— Владимир Игнатьевич! — И Вера, порывисто протянув руки, неожиданно разрыдалась.

То был Саянов.

Он сильно переменялся и, пожалуй, без возгласа Веры я бы не узнал его. Своей единственной рукой Саянов успокоительно сжимал руки Веры и, видимо, старался уяснить себе, кто это другой перед ним.

— Саянов, не узнаешь? Гора с горой...

— А, — спохватился он и с оттенком радостного изумления кивнул мне головой.

— Вот оно как бывает! Но пока в сторону все излияния о прошлом, настоящем и будущем. Джозеф ждет, а ему трудненько дожидаться.

— Пойдем, Вера, а ты, — он обратился ко мне, — посиди в вестибюле или вот здесь, на скамье.

Саянов выждал, пока Вера привела в порядок свое заплаканное лицо, и они вошли в отель.

Я поместился на указанной мне скамейке, отененной туями и кипарисами; они сюда завезены, как и некоторые другие породы.

Представляя себе мысленно сцену свидания, я удивился своему равнодушию. Собственное горе притупляет чувствительность, но иногда позволяет видеть ясно, и я подумал, что всем нам, участникам сегодняшнего драматического эпизода, все обойдется легче по той причине, что, к кому ни обратиться, у каждого найдется своя тяжелая ноша. Да, и у Саянова. Вот, кстати, странно вышло, что мистрис Пелль ни разу не упомянула его фамилии и я так долго не знал о его присутствии в Нуvara Элии. Да, и у Саянова. Он лишился руки и это было большое несчастье. Но не в том суть; я определенно почувствовал веяние какой-то непреодолимой грусти, разъедающей тоски, исходившее от него. Он был уже далеко не тот, этот пересмешник и жонглер понятиями. В нем появилась цельность, характера которой я пока не решался определить, а жесткая нота уже прозвучала в момент встречи с Верой и со мной.

А, все будет известно, все пройдет и закончится могильными холмами!..

Показались Саянов и мистрис Пелль. У старушки нервно тряслась голова, но она крепилась.

Саянов вынул коробку папирос и предложил мне.

— Русские, называются «Союзные», я все же как-то купил их случайно.

Прошло несколько томительных минут и мистрис Пелль, найдя, очевидно, что миновало достаточно времени для разговора с глазу на глаз между Верой и Джозефом, направилась в гостиницу, за ней последовал и Саянов.

Вскоре они вернулись, но уже вместе с Верой. Вера была бледнее обыкновенного, молчалива; растерянность, недоумение сквозили во взгляде ее прекрасных глаз, и мольба и отчаяние.

На четвертый день после того, как Джозеф Кребтри был перевезен нами в Коломбо, он скончался, погас, как догоревшая свеча.

С большим наружным спокойствием приняла его смерть Вера и единственные слова, которые мы от нее услышали, были:

— Царство небесное и вечный покой!

Фру Линнеман, единовенная покойному, озаботилась точным исполнением всех погребальных обрядов, чем вывела из некоторого затруднения мистрис Пелль с ее вполне сложившимися буддийскими воззрениями.

ХІХ

ПУТЬ САЯНОВА

Длинная цепь различных обстоятельств военного, политического и личного свойства предшествовала, долгий период времени прошел и столь многое переменилось, пока Саянов, побывавший в разного рода переделках, оказался в составе отрядов атамана Дутова, действовавших в Оренбургском крае и в смежных областях.

Стали таять и эти отряды, превратившиеся, в последний период их существования, в малочисленные, разрозненные группы белых офицеров, преследуемых упорно и беспощадно.

В одной из схваток, когда партия, к которой принадлежал Саянов, была окружена в степи и когда вопросом жизни или смерти было пробиться в восточном направлении, Саянов потерял свою левую руку; казачья сабля отсекла ее у ветеринарного врача Саянова, ставшего волею судеб казачьим офицером.

Они пробились, но с большими потерями и уже не составляли отряда, способного действовать, как боевая единица; им пришлось рассеяться, перейти на положение беглецов, спасавших свои жизни способами, какие каждому из них были доступны. Только смелый, по-звериному изворотливый и чуткий, только удачливый сохранял свое место в списке живых. А затем, — к востоку, все к востоку! Там были свои опасности, но с каждым шагом уменьшалась та, которая была наиболее реальной.

Наступил и такой момент, когда однорукий, но оправившийся уже от ранения Саянов счел нужным двинуться еще дальше; покинуть пристанище последнего периода времени, которым служил один из заброшенных приисков.

Их было трое, но лишь Саянов нашел в себе достаточно энергии, чтобы настаивать на дальнейшем отходе.

Они вели пещерный образ жизни, избегали по возможности встреч, приняли все меры к тому, чтобы не быть уз-

нанными, но нельзя было совершенно отречься от общения с внешним миром — ведь надо было питаться — и мало-помалу слух о трех пришельцах на прииске распространился по окрестностям, а в этом таилась опасность, особенно для Саянова с его свежим и бросающимся в глаза увечьем.

Хотя было очевидным, что такое бездеятельное сидение на одном месте, само по себе и по ряду привходящих оснований, не может длиться долго, тем не менее, доводы Саянова не имели успеха у его товарищей. Один впал в состояние глубокой апатии, а другой находил, что план Саянова добраться до Индии фантастичен, грозит верной гибелью, а — кто знает — может быть, еще наступит перемена к лучшему.

В сущности, это было неточно, так как Саянов настаивал лишь на необходимости сняться с места и указывал, что до выяснения конъюнктуры наиболее благоразумно продвигаться в юго-восточном направлении, по областям достаточно пустынным, а затем держать путь к пограничному Памиру и, в случае потери всякой надежды, войти в пределы Индии через Читрал и Гильгит, где уже властвовали англичане.

Саянов находил, что у него нет выбора и пустился в свой опасный путь один. Безоружный, ибо оружие легче всего могло погубить, в одежде нищего, запустив бороду и придав себе наиболее стариковский вид, двигался Саянов, живя подаянием, от селения к селению, от кочевья к кочевью с возможной поспешностью, задерживаясь на самое короткое время. Он рассказывал о себе, как о солдате, давно уже уволенном из-за потери руки и которому нечего было возвращаться на родину, где у него не было ни имущества, ни сколько-нибудь состоятельных родных.

Несколько раз его пытались ограбить, но справедлива поговорка, что «голому разбой не страшен». Что можно было отнять у Саянова?

Его крайне тяготило одиночество, но в действительности это был лучший способ передвижения в его положении и он, изменив, по непосильности, первоначальное направление, терпя голод и жажду, достиг, наконец, линии

железной дороги и, всяческими правдами и неправдами, докатился до Ташкента.

Пределы родины были по-прежнему негостеприимны, Ташкент нельзя было причислить к безопасным местам и Саянов, настойчивый и логичный, перебрался еще дальше — в Самарканд. Там он пробыл долгое время и смог обеспечить себе пропитание.

Разглядевшись в обстановке, ознакомившись с местными наречиями, он начал влиять на туземцев в желательную для себя сторону и незаметно перешел на роль весьма активного организатора недовольства новой властью. Нашлись помощники, а среди них и предатель.

Саянов бежал почти в последнюю минуту в отдаленный Мерв и лишь общая дезорганизация и суровая школа предшествовавшего периода жизни спасли его от верной гибели и помогли достигнуть Мерва.

Нельзя было задерживаться и в Мерве, несмотря на истощение средств и изнурительную лихорадку, которую схватил Саянов.

Так складывался один из необычайных маршрутов русского эмигранта.

В одном из пунктов оазиса составил караван, отправлявшийся в Герат; он пополнился одноруким погонщиком Саяновым, принятым по соображениям крайней дешевизны — только за пропитание.

В начале долгого, почти пятисотверстного пути Саянову казалось, что он расходует последние уже силы; но, когда караван достиг области гор, наступило резкое улучшение здоровья и Саянов понял, что выдержал.

В оживленном живописном Герате, этой узловой станции караванных путей из Персии и самого Афганистана в Индию, изгнанник приободрился. Он был простым одноруким погонщиком, отпущенным, по прибытии в Герат, на все четыре стороны; он был последним из неимущих, потерявшимся в великом муравейнике человечества, но ему была возвращена безотносительная личная свобода.

Саянов удовлетворительно владел наречием таджиков; это гарантировало ему в Афганистане почти повсеместное

понимание. С другой стороны, приспособляясь издавна и постоянно к местным условиям, он сумел приобрести те внешние приемы и ухватки, которые сливали его с окружающей массой населения; это было не менее важным достижением.

А в дальнейшем Саянову решительно повезло. Тем же способом, уже как бывалый погонщик, пересек Саянов с запада на восток Афганистан и достиг Кабула, столицы страны; там он переменял хозяина.

Кабул ведет оживленную торговлю с Индией, в том числе лошадьми, и вот Саянов нашел более выгодные условия для дальнейшего продвижения, нанявшись к одному из крупных купцов, поставлявших лошадей для индо-британских войск. Саянов имел случай продемонстрировать перед почтенным Мустафой ибн-Мохаммедом свои познания ветеринара и был принят к нему на службу на довольно хороших условиях.

Через месяц времени, ушедший частью на закупку, частью на снаряжение, транспорт, со всей восточной медлительностью, отправился из Кабула через Хайберский проход в пределы Пенджаба.

Путь был долгий и, пока достигли Пешавара, первого значительного пункта на территории собственно Британской Индии, с Мустафой приключилось несчастье — он упал на одном из горных склонов вместе с лошадью, сильно расшибся и вывихнул себе руку. В этом случае Саянов смог прийти к нему с существенной помощью и с тех пор до самой Умбаллы, конечной цели транспорта, афганец дарил Саянова своим вниманием, а при расставании выплатил ему двойную против условленной сумму денег.

Еще из Пешавара отправил Саянов пространную телеграмму в Коломбо к той тетке Джозефа Кребтри, о которой так часто вспоминал последний, то есть к мистрис Констанции Пелль; он просил ответить ему до востребования в Умбаллу.

Слабую лишь надежду питал Саянов, но она оправдалась блистательно: был Кребтри в Коломбо, была его тетка,

был денежный перевод в Умбалле и была просьба о прибытии!

Однако письмо свидетельствовало о какой-то тяжелой болезни Кребтри и было лишь написано от его имени. Это обстоятельство слегка, только слегка, опечалило Саянова, но, в данных условиях, ему была бы простибельна и большая порция эгоизма.

Он называл описанное своим «индийским походом»; в Умбалле поход этот собственно и закончился.

ПО ИНДИИ

Начиная с Умбаллы, резко переменялась жизнь Саянова и переменялся он сам. В период борьбы, последующих скитаний ум его был занят чем угодно, но только не метафизическими вопросами, когда-то столь занимавшими Саянова.

Теперь же, в особенности с получением ответа, денег из Коломбо, он опять обрел твердую почву и волной хлынули в его голову прежние мысли, среди которых резко обозначилась проблема смысла жизни.

Саянов видел и перечувствовал достаточно, чтобы прийти к неистребимой потребности ответить себе на вопрос: к чему все это, неминуемо ли оно и в чем нужно усматривать подлинные ценности?

Он находился в стране, где дух человеческий питал и питает неумалаяющийся интерес к этой проблеме, где она разрешается на протяжении тысячелетий и в двух основных решениях — в браманизме и в расступившемся к северу и югу буддизме — как бы достигла уже предельной разработки.

Еще перед Умбаллой, в Лагоре, в Амритцаре, в этих в значительной степени мусульманских городах, уже чувствовалось могучее веяние индусского духа.

В Лагоре, в его богатейшем музее древностей, Саянов многое прибавил к тому, что ему было известно из книг, приблизил к себе и там, среди массы буддийских памятников, он еще раз поставил себе вопрос о приятии либо отрицании жизни.

В Амритцаре, в священном городе сикхов, Саянов посетил Дарбар Саиб — Золотой храм — из мрамора и позолоченной меди, четырехвратное, по числу стран света, строгое и величавое здание, возвышающееся среди искусственного «озера бессмертия».

Изречения и молитвы на внешней стороне и птицы и цветы в стенной живописи внутри и больше ничего в этом храме, где покоится, оберегаемая священнослужителями от прикосновения и пыли, величайшая святыня — книга Грант, своего рода Евангелие сикхов, compendium их верования, где браманизм сочетался с исламом.

Саянов не знал, но это справедливо, что в этой книге найдутся отголоски большого числа религиозных учений, модификаций главных направлений религиозной мысли древней страны.

Вот знаменательные священные строфы, их можно найти у Киплинга; здесь они в вольном переводе. —

«Мой ближний покорно к богам прибегает,
К различным богам сего света;
А в голосе то же страданье рыдает,
Какое на сердце ношу без ответа.
Бог его роком рожден, как богиня твоя,
Его шепот — молитва для всех... и моя».

Это ли не утверждение единства религий?! И как понятны становятся простота, отличающая главный храм сикхов и отсутствие разработанности в обрядовой стороне культа. За приношение, молчаливо положенное, на отмеченный на полу четырехугольник, прими, о приносящий, несколько лепестков цветов с возвышения, на котором покоится священная книга. Но приносящий стоя кладет поклоны, но он не преминет выкупаться в «озере бессмертия», как духовно близкий исламу сикх, но и как индус тоже.

Дели — Агра — Бенарес — Калькутта — Коломбо; такой путь следования наметил себе Саянов, но по ограниченности средств — каждый день стоил и он уже не был, как в Лагоре и в Амритцаре, на иждивении у тароватого Мустафы ибн-Мохаммеда — он отказался от Агры, а в Калькутте поспешил на отходивший в Коломбо пароход.

Дели он посвятил немного времени; бросил лишь общий взгляд на столицу Великих Моголов. Мечеть Джама Масдшид, величайшая в мире, еще мечети, еще ряд заме-

чательных зданий и короткая экскурсия в Ферозобад, в один из семи мертвых городов, полуразрушенных свидетелей прошлого, его событий, разыгравшихся на великой индийской равнине, — этим должен был ограничиться Саянов.

В Бенарес он прибыл вечером, а на следующее утро трехтысячелетний город, пусть лишенный междуусобиями и войнами более древних памятников прошлого, город, священнойший из городов Индии, вековечный центр ее духовной жизни пахнул на Саянова своей особенной атмосферой приближения к искупающей радости.

На берегу благословенного, смывающего грехи, болезни и печали Ганга, народ Индии с террас, с гат подступивших к воде храмов и дворцов, стремился к реке, к брошенным на нее плотам, чтобы погрузиться в очищающую воду, в торжественный момент восхода солнца.

Саянов приобщился к этой издревле творимой мистере, невзыскательной и простой по форме, но родственной многим иным, выражающей, как и те, вечную надежду перебросить мост от земли к непонятному Небу.

Уже в вагоне, уносясь по направлению к Калькутте, Саянов сопоставил суть браманизма с той формой, в какой он проявляется вовне: тысячи божеств Индии, великое множество оттенков в извилистом узоре пышнейшего из культов и... абсолютный Брама, непостижимый мыслью, неизъяснимый словом, который начинается там, где кончается всякое понимание, способное быть выраженным словом или действием!

...О, Индия, всем твоим детям от наивного пахаря до снявшего все повязки дваждырожденного, есть место под сенью могучего древа твоей духовности!

Я УМРУ, НО НЕ УНИЧТОЖУСЬ!

Саянов благополучно достиг Коломбо и там состоялась его встреча с Кребтри, печальным, догоравшим.

Они переселились в Нувара Элию, где вели долгие беседы, служившие единственным утешением бедному юноше, неумолимо приближавшемуся к концу своей жизни.

Утешение, однако, было лишь относительным. В сердце, в уме Джозефа Кребтри все было выжжено страданием, а ничего уверенного, воистину успокоительного не мог предложить ему Саянов.

Когда приманки жизни перестают действовать, когда они не могут получить доступа к человеческому существу, тогда сама жизнь — обнаженная — утрачивает свою притягательную силу; в таком состоянии находился Кребтри, не желавший уже ничего, кроме уразумения.

Кребтри однажды заметил:

— Владимир Игнатьевич, я ищу пропускное свидетельство на тот свет.

— Оно каждому необходимо, дорогой Джозеф, — подал реплику Саянов.

Жизнь Кребтри имела начало, приближался ее конец, но она была лишена середины; с недоумением искал он объяснения и вечное «зачем» — спутник страдания — было неотступно при нем.

И вот осторожно, боязливо, щадя себя, они искали, доходя до последних обобщений, неизбежных в подобных случаях.

Пусть смерть настигнет человека, износившего свою физическую одежду, которая ведь не должна быть раздраема в клочья принудительно; пусть умирает человек, реализовавший многое из человеческих возможностей и уже усталый; но ребенок, рожденный, чтобы жить, и сталкиваемый вдруг в бездну небытия, но созревающий человеческий колос, срезываемый в период цветения?!

Да, борьба за существование, другие чисто материальные факторы дают объяснения, но только внешней стороны дела. Умер, потому что заболел смертельно, умрет, потому что его искалечила война; ребенок заболел, заразившись, некто искалечен по неустройству человеческих отношений и так дальше, дальше... по ступеням умозаключений, до ступени последней, где все круто обрывается последним вопросом о смысле всего совершающегося.

Саянов и Кребтри сошлись на общей точке понимания: к христианскому разрешению проблем о бессмертии души и о воздаянии они присоединили восточный вариант о пан-психизме и о кармической цепи.

— Я умру, но я не уничтожусь! — с холодным, но и величавым спокойствием заявил однажды Кребтри и, как истый британец, добавил:

— А на земле, я все же полагаю, долю моих страданий прияла нация, как жертву на алтарь ее будущего.

АДАМОВ МОСТ

Прекрасный остров, на который все мы прибывали с надеждой на долю радости, даже Саянов, даже Вера, и он — жемчужина тропиков — залег тенью в глубине наших сердец.

Но ведь мы люди Запада, нам свойственно преодолевать печаль устремлением к активному вмешательству в ход жизни; довольно, довольно только личных переживаний, назад в Европу, к ее станкам, выковывающим будущее!

Я сказал — мы, но следует внести поправку: Саянов все более отрекался от Запада и шел к Востоку, преображаясь в одного из тех, довольно многочисленных после войны, европейцев, которым возвышенное, но скорбное учение Будды заслонило собой остальное.

Саянов решил не покидать Цейлона, хотя мы его звали с собой, и принял предложение мистрис Пелль занять у нее место управляющего. Она была несколько фиктивной, эта должность, но старушка постаралась придать всему делу серьезный вид, ограждая самолюбие Саянова. Они очень поладили друг с другом, чему способствовало уже значительное сходство мировоззрения; однорукий друг покойного Джозефа был особо любезен сердцу мистрис Пелль.

Фру Линнеман решительно торопила с возвратом и, в крайнем случае, просила отпустить ее одну; истая северянка, уроженка Вестерботнии, она действительно с трудом переносила климат Коломбо.

Итак, наш отъезд приближался, но перед тем мне хотелось рассеять упавшую духом, поникшую Веру: должна же была она вынести из своей далекой экспедиции что-нибудь, кроме горя.

Да, я теперь стал заместителем «дяди Пети», и я не претендую уже на молодость, и Вера найдет во мне заботливого опекуна.

Саянов согласился сопутствовать нам в намеченной поездке в Анурадхапуру с окрестностями, где буддизм сосредоточил многие из своих святынь.

— Очень охотно, если мистрис Пелль позволит, — заявил он. Последняя, конечно, ничего не имела против и мы приобрели в Саянове спутника, который мог быть лектором по истории буддизма.

Анурадхапура расположена в северной низменности Цейлона; это древнейшая из многих столиц бывшего сингалезского государства, насчитывающая более двух тысяч лет существования; на руинах прошлого там угнездилась современная жизнь. В самой Анурадхапуре, вокруг ее, разбросано множество памятников старины и священных для буддистов мест. Среди последних выделяется находящаяся в километрах десяти от города гора Махинды.

Великий апостол буддизма, сын индийского царя Асоки, прибыл на Цейлон за 250 лет до Рождества Христова, когда остров представлял собою единое государство сингалезов под управлением мудрого Деванампий Тиссы. Зерна учения, брошенные Махиндой, дали на острове богатые всходы.

Царь Тисса подарил Махинде гору, где они впервые встретились, и гора сохраняет имя апостола. Одна из шестидесяти восьми пещер ее служила жилищем Махинде, когда последний, закончив проповедническую деятельность, уединился. Там же, на горе, в Амбастала-догобе покоится прах апостола.

Прелестна дорога, ведущая из Анурадхапуры к горе; это коридор среди джунглей, пернатое и иное население которых вносит столько оживления в поездку. Дорога прямая и лишь в конце делает поворот, за которым, за стрельнувшей в небо кокосовой рощей, величаво выступает на окружающей равнине священная гора, до самой вершины покрытая лесом.

О, эти цейлонские леса, могучая растительность тропиков, сколько памятников прошлого скрыто вами!

Слушая толковые пояснения Саянова, поднимались мы на гору, приблизительно на середине которой начиналась

древняя лестница. Сквозь ее каменные ступени пробивалась захватная растительность экваториального пояса земли и лестницу теснил девственный лес. Показалась площадка, окруженная колоннами, а две громадные таблицы, утвержденные по бокам лестницы, возвестили нам из глубины двух тысячелетий устами Саянова, что «убийце людей и животных нет места на священной горе!»

Вся остальная часть нашей экскурсии этого дня прошла под знаком великой заповеди буддизма, идущей до последнего отрицания всякого насилия, превосходящей христианскую «не убий!»

Мои надежды рассеять Веру оправдывались плохо; еще в пути она как будто повеселела, но в Анурадхапуре ее выразительное лицо поволоклось каким-то облаком, которое так на нем и застыло. Я вскоре понял, в чем дело, понял, какую ошибку невольно допустил.

В последующие дни мы продолжали осмотр различных достопримечательностей и всюду ощущалось присутствие духа того, кто народам Востока дал нечто от истин, преобразивших лик Запада.

Догоба Изурумунья, сравнительно недавно откопанная и восстановленная, догобы Руанвели и Мирисвети, построенные царем Дут-Гамани, Тхупарама, хранящая великую реликвию — ключицу Будды, — закинули, каждая, свое слово.

Мы направлялись к догобе Этаванарама, хорошо сохранившейся и расположенной очень живописно. Дорога пролегла через лес и вот, вполне неожиданно, в густой тени деревьев, под их зеленеющими сводами, увидели мы Просветленного. Он, каменный, сидел, как обычно, в позе какого-то удаленного спокойствия и глаза его, как всегда, были полузакрыты. Ни в одном из храмов, ни в каком другом месте не пережили мы более сильного впечатления.

Расположившись в тени тамариндов и зонтичных деревьев Этаванарама, мы предались заслуженному отдыху, а Саянов вернулся к изложению истории распространения буддизма на Цейлоне. Когда упомянул он сестру Махинды, Сангамитту, Вера вдруг разрыдалась.

Овладев собой, она отрывисто дала понять, от кого и когда стала известной ей история царственной буддийской монахини, а вслед за тем выразила категорическое желание вернуться в Коломбо.

Тогда все уяснилось — поездка в Анурадхапуру, где все полно Махиндой и его сестрой, была неудачнейшим из предприятий, а еще третьего дня Саянов, не ведая, что творит, распространялся о священном дереве «бо», окруженном храмами и колоннами, некогда посаженном тою же Сангамиттой!

Стрела, пущенная в Стокгольме Джозефом Кребтри, вонзилась в землю Цейлона, приившую стрелка!

Конечно, мы поспешили исполнить желание Веры. Был нанят автомобиль и мы отправились в Тринкомали, чтобы оттуда, сообразив, как удобнее, двинуться прямо в Коломбо, а затем уже и в Европу.

— Я жалею, — заметил Саянов, когда машина, значительно замедлив ход, преодолевала один из длинных подъемов в гору, — я жалею, пусть без достаточных оснований, что мы направляемся к востоку, а не на северо-запад; было бы интересно кинуть вместе с вами взгляд на то место, где Цейлон, с прибрежного острова Манаар, как бы протягивает руки к материку, к матери — Индии, отстоящей всего на каких-нибудь двадцать верст. Вы, может быть, не знаете, что Манаар, ряд отмелей и мелких островков, брошенных далее, составляют вместе с островом Рамесварам, уже индийским, так называемый Адамов мост. Как создано это название?

Что ему? — подумалось мне.

— Я полагаю, обычным путем, Владимир, историей человеческого рода; объяснения записаны в той книге, начальные главы которой забыты нами, частью вырваны, перепутаны. Но я беру приведенное тобой название. Мы — потомки Адама, даже не как библейского лица; пусть так будет названа первая ступень человеческого рода. Мы пришли в жизнь из бездны неведомого; нас, после короткого пути, ждет то же неведомое; за нами, потонувший в непроглядной тьме, континент Пришествия; перед нами очень близ-

кий, но неразличимый берег великой страны Ухода. Жизнь уместилась посередине. Где, в окружающем тумане, ступаем мы относительно уверенно и где, наряду с поражениями, празднуем свои победы? — На мосту, переброшенном между этими странами Неведомого, на мосту, на который первый вступил Адам и указал путь своим поколениям. Вот где настоящий Адамов мост, мост Жизни!

На протяжении поездки вообще и теперь в автомобиле мы довольно часто сталкивались с Саяновым на принципиальной почве; не знаю, подействовала ли на меня монотонность его буддийской линии, но я разгорячился и, что удивительнее всего, мое воодушевление передалось Вере.

— Блажен, кто может навсегда выйти из Круговорота Жизни, покинуть и не вернуться на мост, подлинное имя которого — Страдание, — опять вбил свой гвоздь Саянов.

С энергичным отпором выступила Вера.

— Ах, Владимир Игнатьевич, вы все о страдании да о неприятии жизни. Мне не спорить с вами, я только выскажу свои мысли. Страдание умеряется состраданием, о котором так много в буддизме; а жизнь есть, она будет, ее биение слышно повсюду, она непобедима, значить, жить надо и жизнь законна. Весь вопрос в том, как жить и что принять за руководящее начало. Христос указал на милосердие и любовь к ближнему; какое преображение свершилось бы, если бы все вступили на путь Христов! Для меня это ясно и другого мне не надо.

Вера была прекрасна в своем оживлении и ее пафос был столь искренен. Эта девушка шла тихими тропинками, в стороне от большой дороги жизни, но ее прикрывал белый плащ и она имела свой путеводный знак!

— Да, да, Саянов, не может быть, чтобы мы родились только для страдания; возможна радость, возможно счастье и жизнь должна иметь свое положительное основание.

Раздался оглушительный взрыв, нас подбросило — лопнула шина; автомобиль круто свернул в сторону и остановился.

Тонкий канат, отпрыск ротанга, лианы, снабженной бичевидными, усеянными крючками отростками, скользнул, раскачиваемый ветром, из придорожных зарослей по голове Саянова, зацепил за его тропический шлем и снял.

— Смотрите, Вера, как пришлось Саянову обнажить голову перед нашим утверждением жизни.

Комментарии

Биографические сведения о Георгии Георгиевиче Брице, писавшем под псевдонимом Sagittarius (Стрелец), практически отсутствуют. Вероятно, можно идентифицировать его как одноименного коллежского регистратора из дворян Г. Г. Брица, который на момент революции жил в Петрограде на Пушкинской ул. и состоял во «Временной ревизионной комиссии в г. Петрограде для проверки отчетности в военных расходах, вызванных войной 1914 г.». Известно, что в эмиграции он был сотрудником газеты «Двинский голос», опубликовал сборник «У приоткрытой двери: Оккультные рассказы» (Двинск, 1925), роман «Chevalier и любовь» и представленный здесь «Адамов мост» (оба вышли в Риге без указания года издания, очевидно, в 1920-е годы).

При чтении последнего романа следует учитывать, что это кажущееся обрывистым и пунктирным повествование – текст подчеркнуто теософский (по крайней мере отчасти) и с данной точки зрения весьма структурированный и цельный. Этой установкой также объясняется достаточное равнодушие автора к традиционной романической описательности и в целом внешним впечатлениям, не затрагивающим духовную жизнь героев, и «кармический» параллелизм событий. Отсюда и пристрастие к геометрическим схемам: к примеру, Саянов, Вера и повествователь второй части романа, Морис, симметрично утратившие возлюбленных и совершающие мистическое «паломничество на Восток», вместе образуют треугольник или триаду «теософического тернера», решенную чуть ли не в духе Г. О. Мебеса и т.д.

В целом «Адамов мост» свидетельствует о некотором знакомстве автора с расхожим «тайнознанием» и петроградскими теософско-оккультными кругами предреволюционной эпохи. Порой он кажется даже «романом с ключом» – ключом, несомненно, давно утраченным, хотя в некоторых персонажах первой части более или менее отчетливо прочитываются реальные прототипы.

Текст романа публикуется по первоизданию с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Приносим благодарность А. Степанову за предоставленный скан издания.

С. 9. *В Тенишевском училище* – Лекции Русского Теософического общества устраивались в концертном зале училища с осени 1913 г.

С. 9. «*Орден Звезды на Востоке*» – Организация, основанная в 1911 г. видными теософами А. Безант (1847-1944) и Ч. Ледбитером (1854-1934) с целью подготовки мира к близящемуся пришествию новой мессианской сущности («Учителя мира»), чьим «проводником» стал юный Д. Кришнамурти (1895-1986), будущий философ и проповедник.

С. 10. *...Горленко-Долинской* – Намек на оперную певицу М. И. Горленко-Долину (1868-1919), которая по завершении оперной карьеры (1904 г.) выступала с концертами, пропагандировавшими патриотизм и панславянские идеи.

С. 11. «*Satyât Nâsti Paro Dharmah*» — *вот как это звучит, а переводится — «Нет религии, кроме правды»* — Цитируется (с искажениями: «Нет религии выше истины») девиз Теософического общества, не совсем точный перевод указанного индийского изречения, принадлежащий основательнице теософского движения Е. П. Блаватской (1831-1891).

С. 11. *...«у ног учителя»... брошюрой* – «У ног Учителя» (1910) – изданная в Адьяре брошюра, авторство которой до сих пор находится под сомнением. Теософы приписывали ее Кришнамурти, выступившему под данным ему Ч. Ледбитером прозвищем «Алкион». Первый русский перевод был опубликован в журн. «Вестник теософии» в 1911 г. (№ 7-8); под «брошюрой» подразумевается, видимо, одно из вышедших в Калуге в 1912 г. отдельных изданий.

С. 12. *Владимирскую фабрику доблестных прапоров* – Имеется в виду петербургское Владимирское военное училище для подготовки офицеров пехоты.

С. 13 *... pied à terre* – временное пристанище (фр.).

С. 14. *Петр Эрастович Блаватский... «дядя Петя»* – Одним из прототипов «дяди Пети» послужил, вероятно, философ-эзотерик Петр Демьянович Успенский (1878-1947), начавший свою карьеру как теософ и популярный лектор и в середине 1910-х гг. подпавший

под влияние авантюриста и мистика Г. И. Гурджиева (1866/72/77-1949).

С. 15. *Нелиус...* – Далее Нелиус назван «Георгием Оттоновичем», что явно намекает на оккультиста, видного петербургского мартиниста Григория Оттоновича Мёбеса (1868/69-1930/34).

С. 16. ...*астеризмом* – Астеризм – оптический эффект в некоторых кристаллах (появление звездообразной фигуры при освещении).

С. 17. ...*свой номер среди F. F. R. C. R.* – т. е. в розенкрейцерском ордене Мёбеса. Ср. заглавие печатного курса лекций Мёбеса: «Курс энциклопедии оккультизма / Составила по лекциям Г. О. М. ученица № 40 F. F. R. C. R.» [О. Е. Нагорнова?] (СПб., 1912).

С. 19. *Соня уже в общине* – Имеется в виду община сестер милосердия.

С. 24. ...«*потрясло мир*» – Ср. заглавие известной документальной книги американского журналиста, социалиста Д. Рида (1887-1920) об Октябрьской революции: «Десять дней, которые потрясли мир» (1919).

С. 27. ...*латании* – Латания – род пальмы с веерными листьями, эндемик Маскаренских островов.

С. 28. ...*доктора Съёберга* – Возможно, фамилия образована по аналогии с фамилией финского врача, психиатра Л. Стёрнвалля (Стьорнвалля, 1861-1938), одного из членов исходного «внутреннего» кружка Гурджиева-Успенского, однако это предположение нуждается в проверке.

С. 30. *Сангамитте...Асоки Великого* – Имеется в виду просвещенный правитель империи Мауриев Ашока (ок. 304-232 н. э.), герой буддийских легенд и хроник. Далее пересказываются легенды о его старшей дочери принцессе Сангаммите, ставшей буддийской монахиней; она привезла на Цейлон (Шри-Ланку) и посадила в Анурадхапуре веточку дерева «бодхи» или «бо», под которым Гаутама достиг просветления и стал Буддой.

С. 34. *Ce que doit savoir un maître-maçon* – «Что должен знать масонский мастер» (фр.). Название книги (1910) французского оккультиста Папюса (Ж. Энкосса, 1865-1916).

С. 34. *Экстериоризация* – здесь: выход души или астрального тела из тела физического.

С. 35. ...*тернере: архетип — человек — природа* – Ср. рассуждения об этом «теософическом тернере Великого Аркана» в указанном выше издании лекций Мёбеса (лекция III).

С. 39. *Ordre Kabbalistique de la Rose † Croix* — «Каббалистический орден Розы и Креста», розенкрейцерский орден, основанный ок. 1888 г. французскими эзотериками С. Де Гуайтой (1861-1897) и Ж. Пеладаном (1858-1918); в последующие годы испытал ряд расколов, сближение с масонскими организациями и т.д.

С. 39. *Элифаса Леви* – Элифас Леви – псевдоним французского оккультиста и практика церемониальной магии Альфонса Луи Константа (1810-1875), автора ценившихся представителями т. наз. «оккультного возрождения» сочинений.

С. 46. *Море облаков* – Лунное море (область, представляющаяся темным пятном) на видимой стороне Луны к юго-востоку от Океана бурь.

С. 47. *Ah bigre!* – Черт возьми! (фр.).

С. 48. *Quai des Beiges* – Бельгийская набережная (фр.).

С. 52. ...*астросома* – Астросом – астральное тело.

С. 62. ... *dame de compagnie* – компаньонка (фр.).

С. 71. ...*тик-палонги* – Тик-палонга – цейлонское название цепочной гадюки или гадюки Расселла (*Daboia russelii*).

С. 77. ...*атамана Дутова* – Имеется в виду А. И. Дутов (1879-1921), атаман Оренбургского казачества, участник Первой мировой войны. Был убит в Суйдуне (Китай) большевистскими агентами.

С. 84. ...*дваждырожденного* – В индуизме «дваждырожденный» (двиджа) – член одной из трех высших каст (брахманы, кшатрии и вайшьи), прошедший (обычно в возрасте 8-12 лет) особый обряд посвящения (упанаяна).

С. 89. *Догоба* – точнее дагоба, на Шри-Ланке мемориальное буддистское сооружение, подобное полусферической индийской ступе.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.